

ВЛАДИМИР РЫБАКОВ

"АФГАНЦЫ"



«АФГАНЦЫ»

Vladimir Rybakov

**THE SOVIET
OCCUPATION FORCES
IN AFGHANISTAN**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988**

Владимир Рыбаков

«АФГАНЦЫ»

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988**

Vladimir Rybakov: «AFGANTSY»

First Russian edition published in 1988
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Vladimir Rybakov, 1988
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1988

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission

ISBN 1 870128 85 0

Cover design by Andrzej Krauze

Printed in West Germany

ДЕСАНТНАЯ ГРУППА

Повесть

I

База была удобно и широко расположена на равнине, и по выходе колонны из ущелья старший лейтенант Борисов сразу же охватил её взглядом. В БМП духота была нестерпимой, превышавшей все мыслимые представления о жаре. "Хуже, чем в бане на бабе". Борисов безуспешно пытался найти лучшее сравнение; воспаленный мозг, как нарочно, ловил издевательское выражение складок лежащего рядом спального мешка из гагачьего пуха. На спальный мешок иногда, скаля зубы, косился экипаж БМП; в расстегнутых до пупа ХБ парни не потели, и Борисов знал почему: нельзя пить после восхода солнца. Не зря ведь говорят: "Не пивши, не потевши будете". Знал это вчера в Кабуле Борисов и повторял себе: "не пей перед дорогой воду, не то что водку, "духи" нагрянут, дыхания не будет, руки

будут дрожать и без ... останешься, а то и без головы". Но угощал его Витька Карпенко, друг по училищу, уже майор, и в ресторане был кондиционер, неземная прохлада царила — и водка была ледяная. "Неужели бывает на свете что-то ледяное, кроме сердца Светланы? Ну, если шутишь — значит, еще живой". Борисов подумал так и смутился: "Не был еще в бою, не получил боевого крещения, а уже мысленно произношу, что еще живой". Не к добру. Забыть нужно о жизни, тогда и смерть не придет. И еще приводило его в замешательство неоднократно спонтанно приходившее желание приказать солдатам застегнуться, не нарушать устава, да еще в присутствии офицера.

Две недели назад он был в своей части под Фрунзе и без особой надежды ждал ответа на просьбу быть отправленным в Афганистан. Желających в армии было слишком много — почему именно ему, старшему лейтенанту Борисову, ничем особенно не отличившемуся, должен был выпасть счастливый жребий? Стрелял он плоховато, пил, правда, умеренно, верхом скакал хорошо, а вот подниматься по служебной лестнице на горбу солдат не любил. И политически активным не был. Но дисциплину любил. Приказ есть приказ, устав есть устав — без них нет армии. И вот — выпало счастье. Может, потому что — холостой? Да, счастье...

База росла на глазах — в передних БМП и БМП откинули крышки люков. Чувствовалось, что люди наслаждаются ощущением безопасности... Колонна полностью уже выползла из ущелья. Борисова продолжали раздражать расхристанные в присутствии офицера солдаты, но полное отсутствие вины в их глазах, радость, что горы теперь уже позади, и какое-то давно забытое ощущение себя мальчишкой в этой стране — заставили и его улыбаться... Розово-рыжая

пыль нависала над колонной, медленно оседала, будто скопищем газов, гримасничала в синеве странными узорами. Механик-водитель сказал, небрежно откинувшись на сидении:

— Почти приехали, таищ лейтенант. Вас точно поведут в убежище.

В его голосе чувствовалась неприкрытая зависть. В убежище? Борисов понимал: глупо притворяться всезнайкой в этих краях, срочник перед тобой или нет, но унижаться, задавая вопросы, ставящие тебя ниже солдата, тоже нельзя.

— Да. А вам сколько еще служить, товарищ сержант?

— Я уже год и два месяца на войне. Посмотрите по сторонам, тут у нас сплошные "консервы", минные поля я хотел сказать. Одна эта дорога свободна... Вам сегодня повезло. Было тихо в пути. Либо "духи" отдыхают, либо у них кончились боеприпасы, либо они сегодня работают на другом участке. Они, знаете, РПГ любят. Впрочем, сами скоро все узнаете, вы ж боевой.

В голосе механика-водителя уже не было зависти, но и уважения не было, скорее грустная жалость. "Будто непременно меня убьют. А что, он прав, ведь я десантник, мать его так...". Пистолет в кобуре потяжелел за время дороги, и это знакомое ощущение, связанное с привычкой носить оружие, придало Борисову бодрости и уважения к себе, профессионалу. Въехав на территорию базы под веселые крики бежавшей навстречу армейской толпы, БМП покинула колонну и остановилась у сборного домика с русскими цветами в афганских вазочках на подоконниках, которые обрадовали Борисова: цветы создавали уют, а уют вестче стали и всей огромной базы подсказывал: "Мы пришли сюда навечно. Мы победим, непременно победим, черт возьми!"

— Приехали, лейтенант, здесь дворец полковника Осокина, вашего "бати". Прощайте... Сигаретки у вас не найдется, товарищ лейтенант? Целую пачку? Ну, спасибо. Не помереть вам раньше срока. И еще совет вам в благодарность за курево: "Старайтесь в будущем не попадать в бэмпэшки, выбирайте по возможности бэтээры или бээмрэшки — у них два движка".

Отряхивая пыль с обмундирования и вытирая с лица, Борисов благодарно поглядел вслед бронемашине. Он был тронут добрым советом, но еще больше простым своим движением — без размышления полезть вот так в карман за пачкой "Примы" и протянуть ее сержанту, как это делают только старые друзья, без наигранного великодушия. И в части и дома Борисову перед отъездом не раз говорили: война особый мир, к нему нужно быстро приспособиться, ибо он безжалостен — уничтожит без всякого промедления. Друзья отца вспоминали войны с немцами, с финнами, с американцами. У каждой войны было свое неповторимое лицо, но все они подчинялись одним и тем же законам, законы же эти никем не написаны и переданы словами быть не могут. Можно лишь давать советы, как легче их почувствовать, прочувствовать и, пропустив сквозь себя, выработать определенные нормы поведения, обеспечивающие максимально возможные шансы остаться в живых. Так говорил Борисову старый генерал в отставке, друг отца-полковника и друг дяди-полковника. Генерал сказал на прощание: "Опыт мне подсказывает — в войне с вооруженными гражданскими лицами офицеру следует прежде всего глядеть не вверх, как обычно, на начальство, а вниз — на личный состав".

...Работу секретаря, вестового и денщика у полковника Осокина выполнял необъятный в ширину татарин в прилипшей к огромной груди тельняшке. Когда он встал из-за стола, опираясь на свои руки-кувалды, и направился быстро на кривоватых ногах к нему, Борисов решил: "Набросится! Что это он?" Но полная угрозы гримаса оказалась улыбкой. Татарин сказал на хорошем русском языке:

— Добро пожаловать, товарищ старший лейтенант. Мы вас ждали. Посидите здесь, в предбаннике, а я Василию Степановичу о вас доложу.

"Для чего полковнику такой франкенштейн понадобился? Он же любое начальство перепугает. Странно. Обычно в денщики берут малых да расторопных. Этот же любую пишущую машинку мизинцем разворотит. Да и глядеть на него просто жутко. Может, он того..."

Полковник Осокин явно любил комфорт: на полу и на стенах — ковры, вдоль стены шкафы из отличного дерева, огромный полированный стол, за которым сидел полковник. "Забрал у какого-нибудь феодала", — решил Борисов. В кресле у стола сидела маленькая обезьянка и умно стреляла глазками на вошедшего. На столе горела странной формы настольная лампа. Кондиционер работал на полную мощность, распространяя по кабинету прохладу. Огорошенный, ослепленный, ощущая лицом странную ласку холодного воздуха, Борисов почему-то подумал: "Да ведь он так свою обезьянку застудит".

— Товарищ полковник, старший лейтенант Борисов...

— Хорошо, хорошо. Присаживайтесь. Рад, рад. Хотите освежиться? Иван, соку! А, вы на мою "Т-6,1" смотрите? Я таких уже с десятков у ребят здесь купил. Хотите, вам одну дам? Здесь умельцы их мастерят из пластиковых корпусов итальянских мин, вот я их и

покупаю, надо ж помочь ребятам. Да вы садитесь, садитесь. А, вот и сок. Иди, Иван, иди. Отличный парень, лучшего телохранителя не найти. Раз ко мне ворвались пятеро, я их дружка под трибунал отдал, афганку изнасиловал и убил, дурак, чуть ли не в мечети. Так мой Иван их мигом в госпиталь отправил, у него первый по самбо, вообще мастер рукопашного боя, артист, палач в лучшем смысле этого слова. Видели бы, как он — по древнему их обычаю — убивает одним ударом ноги под сердце! Я его в одном кишлаке заметил — этот способ казни действует на афганцев... Я, Владимир Владимирович, — так ведь вас по имени-отчеству? — не болтливый человек, но нужно, необходимо, чтобы вы как можно быстрее почувствовали обстановку, поскольку этой же ночью полетите на первое свое задание. Как говорится, с корабля на бал...

Зарумянившийся Борисов резко встал:

— Готов...

— Садитесь, садитесь, здесь всего этого не нужно, Владимир Владимирович. Война наша необычная, во-первых, воюем с трудным народом, во-вторых, — в основном в горах, в-третьих, воюем малыми группами — под вашим началом будет пятнадцать человек. В-четвертых, воевать надо умело, до эвакуации осталось мало времени, лишние потери я никому не прошу...

— Как... эвакуация?

От изумления старший лейтенант Борисов разинул рот, глаза, потеряв силу, забегали.

Осокин тоже удивился:

— Что, разве не слышали? Пресса только об этом и говорит.

— Слышал и читал, конечно, но я был уверен, что вся эта шумиха с примирением этим национальным и с нашей эвакуацией — это, чтоб обмануть американцев.

Что, неужели мы отдадим им Афганистан? Неужели проиграем?

Полковник сморщился:

— Ну, до поражения далеко еще. И учтите, старший лейтенант: обманем мы американцев или нет — не нашего это ума дело. Мы — солдаты. Наше дело — выполнять приказы и как можно лучше. Но, честно говоря, мне самому как-то не верится, что мы можем после стольких лет войны — когда мы на верном пути к победе — уйти как побитые собаки... как американцы из Вьетнама. Но, повторяю, не нашего это ума дело. Частный разговор этот пусть и останется частным. Кто знает, мы еще, может быть, в будущем и до океана дойдем. Но ныне и вам приказываю: по дурацки под пули не лезть и своих людей на глупую смерть не посылать. Учтите, за такое геройство карьеры не будет, как старший товарищ вам это говорю. Вы должны понять — раз вы сюда попали, то ваше будущее обеспечено, но при условии, что не будете чудить. Ясно?

— Ясно. А мое первое задание... Я бы хотел...

— Не беспокойтесь, получите всю нужную информацию.

Осокин усмехнулся, встал, подошел к окну, отодвинул тяжелую штору, посмотрел задумчиво на базу, на военную суету. Тут Борисов увидел то, чего не мог заметить раньше в прохладной полутьме кабинета: у полковника было до времени постаревшее болезненно-желтое лицо переутомленного человека. Полковник кивнул головой:

— Да, Афганистан не малина. И меня гепатит не миновал. Кстати, не забудьте прихватить с собой таблетки для воды и профилактические таблетки от желтухи. Ну, да вам все выдадут и все объяснят,

мудрость не велика. А вот понять людей вашей группы — это дело потруднее. Слушайте меня внимательно и готовьте вопросы. От того, правильно ли вы меня поймете и нужные ли зададите вопросы, зависит ваша жизнь: белые орлы любят нами питаться, лакомиться, афганское мясо жестче... Да, раз уж я об этом, то советую в плен не попадать. Лучше последнюю пулю или гранату себе оставить, легче будет. Афганцы — народ жестокий. Мучить человека — нет для них лучшего развлечения. Они так и говорят: "Мы этого шурави заставили жить шесть дней". Правда, они со своими, наджибовцами, обходятся точно так же. Такие нравы. Не говорю уж о том, что непременно они вас... да, да, в самом прямом смысле. Слышали вы об этом в Союзе?

— Слышал, но...

— Но думали: наши преувеличивают. На этот раз — нет. Про живые наши обрубки слышали? Без рук-ног, языка, глаз, ушей, х..? Тоже правда, хотя, возможно, молва их численность и преувеличила. Да, грязная эта война, в Корее или во Вьетнаме, говорят, было легче и чище. Тут вообще тыла нет, разве что вот наша база. Кругом враги. Помню капитана Васнецова: он на операции ребенка пожалел — так тот его убил. Нас убивают женщины, старики, старухи... нужно все время следить за руками жителей... любого возраста. И нужно привыкнуть заставляя себя... не стрелять в любого афганца. Ну, этому, надеюсь, вас быстро научат. Говорят, Наполеон в Испании столкнулся с похожей войной. Но, думаю, нам труднее: испанцы как-никак европейцы, можно было предвидеть реакцию населения на те или иные действия. А нам нужно вспоминать басмачей или же возвращаться к опыту завоевания Кавказа.

Полковник нахмурил свое желтое лицо, вернулся к столу:

— Но у басмачей не было стингеров, безоткаток, скорострельных минометов, зенитных пулеметов, пластмассовых мин... Так что война грязная и трудная, это вы должны уяснить себе чётко. У нас тут, спасаясь от эрэсов, можно лечь на скорпиона, к тарантулам на пир попасть.

”Болтает полковник, болтает, а неболтливым себя считает. Испугать меня хочет, что ли? Не на того напал”.

Борисов кашлянул.

— Да? Слушаю.

— Вы, товарищ полковник, забыли, что я прошел спецподготовку. Я альпинист, на мастера сдавал. Горами меня не испугаешь.

Полковник рассмеялся неожиданно тонко, с баса перешел на фальцет.

Слушая этот смех, Борисов понял, что сидящий перед ним офицер серьезно болен не только телом, но и душой. ”Ну, вымотала тебя война, так поезжай домой, отвоевался, ну и хорошо, дай другим. Сколько ему может быть лет? Не больше, наверное, сорока. А я что же, майором буду в его возрасте? На, выкуси. А смех у него такой, будто вот-вот сам себя укусит”.

— Все знаю. Ваше дело у меня в столе. Вижу, вы меня не понимаете. Речь идет не о вашей физической подготовке. О психологической. В прошлом месяце после пятой операции один наш десантник сказал другу ”пойдем, погуляем”. Повел его к бассейну, мы его убежищем называем: рыли-то бомбоубежище, а вырыли бассейн. Искупаться — для многих высшая награда, разрешение выдаю, как ордена. Тогда воду как раз из него выкачали, а новую еще не влили. Спустились они

на дно посидеть в теньке. Вытащил тот парень из кармана гранату и говорит: "Давай уйдем на тот свет. Там клево". И держит друга, кажется, Скворешникова, за рукав, не отпускает. Тот еле вырвался, еле успел выскочить наружу, как внизу рвануло. Руку парню оторвало, десять осколков получил, но жив остался. Повезло. А все что? Нервы сдали. Одни себе отстреливают пальцы, другие капсулами себя уродуют, третьи затворами пулеметов. Симулянтов у нас — тьма. Ходят люди и о гепатите мечтают, завидуют желтым, таким как я. И далеко не всегда страх срабатывает, далеко не всегда. Но вы сами знаете: что солдату еще простительно, офицеру никогда не простят... Спокойно, я не хотел вас оскорбить. Но ведь мы — тоже люди, не правда ли, Владимир Владимирович? И вы, когда мы одни, называйте меня Василий Степаныч. Одну ведь работу делаем. Да, так вот: вы должны всегда помнить о своих нервах, всегда, всегда и всегда. Три года назад на этой базе один старший лейтенант дошел до того, что начал афганские черепа коллекционировать; другой, капитан, забавлялся: запалами пальцы у пленных отрывал. Пальцы летят, а он хохочет. Отозвали его быстро, но ведь духовным калекой стал. А все потому, что за нервами своими не следил. Все время повторяю: нервы, нервы, нервы... Хотите еще сока? Нет? Ничего, мы скоро ужинать пойдем. С офицерами вас познакомлю. Замечательные люди у нас есть, правда, все со своими странностями. У меня вот Черчилль есть (он указал на мирно спящую на подоконнике обезьяну).

Борисов слушал теперь полковника с нарастающим интересом.

"Да, он не просто болтает, он учит меня правилам игры. Но для чего? Какая ему выгода? Может, действительно не хочет лишних потерь? Как будто искрен-

не говорит. Я же ему не соперник в конце концов". Борисов еще в самолете думал о том, что на войне не должно быть интриг, столь привычных в мирное время в любой части. Не должно быть и доноительства. В Кабуле Карпенко его разочаровал, но одновременно и обнадежил: "Володька, розовые слюни не распускай. Тут особистов прорва, более злые и жадные они, чем в Союзе. Всех берут на карандаш. И сук у них неограниченное количество, сам понимаешь: солдатик, чтобы отсидеться в тылу, готов на все — любого своего продаст, а уж нас, офицеров, и подавно, даже с удовольствием. Но там, в деле, тебе будет легче, чем нам тут. Даже на базах особисты обсираются, хотя земля как будто не ничейная: не одного после обстрела духов нашли обработанного, как выяснилось, не миной или ракетой, а — гранатой. Но все равно помни: у нас тут каждый себе на уме, тут карьеры делаются быстро, все торопятся. Тем более теперь... не спрашивай, что и как".

"Что и как" было выводом армии из этой страны. Борисов пристально посмотрел на полковника, как бы в последний раз определяя, можно ли доверять новому командиру:

— Я понял, кажется, понял. Но что, товарищ... Василий Степанович, неужели мы действительно уйдем? Неужели проиграем войну? Я не могу в это поверить. И кому? Этим чуркам! Что же, девять лет коту под хвост? А все погибшие?

Борисов увидел отеческую улыбку на лице Осокина, открытую, теплую — и окончательно поверил в искренность полковника. Тот подошел, положил ему руку на плечо и сказал, глядя сверху вниз, будто он, коротышка, был на самом деле выше атлетического Борисова:

— Не горячись. По моему разумению — и не только по моему — даже если мы уйдем, то это будет лишь стратегическим отступлением. Как бы то ни было, севера страны мы американцам не отдадим. В худшем случае будет Северный и Южный Афганистан, как есть Северная и Южная Корея, Южный и Северный Йемен, как был Северный и Южный Вьетнам. Но кто знает, что еще выкинут гласность и перестройка. Нужно быть готовым ко всему. И вот еще что: вижу, ты действительно боевой офицер, штабы и рутинка тебя еще не съели. Здесь легко можешь говорить, что хочешь, от души, но не перед всеми. Я тебе после скажу, кого из продажных мерзавцев мы выявили. Однако сам понимаешь, невыявленные наверняка есть, а у нас многие ведут себя так, будто будущего не существует, в особенности наши десантники, вертолетчики, саперы, ну и — спецназовцы. Вот ты видишь себя с моими звездочками, но это — сегодня. А когда пойдет настоящая работа, тогда появится соблазн жить так, будто завтрашнего дня не существует. Логика в этом есть: для чего думать о карьере, о партийном билете, если... М-да, только логика эта поверхностная. У меня один приятель жил так, хорошо воевал, целым вернулся — так ему долго, очень долго со всеми его орденами звездочек ждаться, и не видеть ему академии как своих ушей.

Старший лейтенант ответил, нажимая на каждый слог:

— Спасибо, Василий Степанович, я не забуду ваших советов. Спасибо. — И рассмеялся: — А правда ведь, авось и убьют.

Полковник тоже рассмеялся, но в смехе было недоверие к случаю и к добру на земле:

— Вот именно. К тому же ты должен знать, что пока в части парторг — я. Чего рот раскрыл? Нашего

парторга убили в засаде, скоро пришлют нового. Хороший был, в общем, человек, только ходил в полный рост, не буду, мол, черножопым кланяться. Вот и подставил голову под снайперскую пулю. Да и ходил он весь чистенький, блестящий... кстати, смени кокарду, яркую чересчур с металлическим мужественным блеском — на полевую, зелененькую, незаметненькую. И значки свои сними. Можешь вообще снять все знаки отличия... Что, что так уставился? В горах один закон — обеспечить себе максимум безопасности. А зачем тебе в горах погоны, кокарды, эполеты, лампасы, просветы, звездочки, эмблемы, канты, нашивки? Тебе ребята все скажут. Теперь о работе. Ночью полетит на задание группа на двух "пчелах", значит шестнадцать человек. Один — выбыл, простудил себе легкие. Надрался, наверное, сволочь, на задании, лег спать как попало, а горы, помнишь у Высоцкого, никого не щадят, только и ждут малейшей оплошности. В общем, освободилось место для тебя, старший лейтенант. Им по дороге будет. Они тебя спустят в нужном месте. Предупреждаю, по канату придется тебе ползти вниз не меньше пятнадцати метров в полной темноте. Тебя будут ждать ребята из твоей группы. Пароль: "Кенгуру побежали". Твой ответ: "Они дерутся". Это не я придумал, а старший сержант Сторонков. С ребятами тебе, старший лейтенант, повезло. Все — старослужащие. Видишь, опять не следую уставу. Но что поделаешь: когда идут и салаги и старики, потери всегда большие. Старослужащие посылают молодняк в самые опасные места. У них своя логика: мол, нам уже долго везет, до демобилизации чуток остался, нечего играть с судьбой, а вам, молодым, даже неизвестно, везет в жизни или не везет. Вот вы и попробуйте, а мы поглядим. С этим бороться нет никакой возможности.

Вот я и решил пойти в обход. Взял остатки разных групп и объединил их так, чтобы каждая восьмерка (столько человек, как ты должен знать, помещается со всем барахлом в один МИ-8, "пчелку", значит) была приблизительно одного призыва. Нет тебе молодых, нет чугунков, одни старики. Одна твоя восьмерка полтора года работает, вторая — год и два месяца. Все они прошли огонь, воду и медные трубы. Все — профессионалы. Все — потеряли многих своих друзей. Тебе придется выполнять трудную задачу: учась у них, командовать ими. А ребята эти — народ сложный, со своей особой философией, мировоззрением, мироощущением. У них интеллигенция правит, заматеревшая интеллигенция, одной восьмеркой Сторонков, другой — сержант Бодрюк. Прапорщик я стараюсь давать группам, в которых много молодых. Задание твое простое. Вот посмотри на карту: из этого ущелья должен выйти караван духов, во всяком случае это стало известно хадовцам, но, во-первых, никогда неизвестно, на кого эти засранцы работают, во-вторых, точных сроков никогда не бывает... Караван может пройти тридцать километров за день, может пройти те же тридцать километров за десять дней. И дело не в том, что командиры духов хитрые мужики, у хитрости своя логика и ее можно разгадать, а в том, что они сами не знают, что будут делать не то что через день и, тем более, через неделю, но и через час. Полный бардак у них, похлеще, чем у нас. Караван может внезапно остановиться отдохнуть на несколько дней, может внезапно свернуть с маршрута, чтобы поторговать, на него, наконец, могут напасть другие духи. А ты сиди и жди. Караван может даже изменить маршрут, выбрать более трудный и опасный, такой, где и мулам трудно пройти. Так что придется наверняка долго ждать, можно и не

дождаться, а продовольствия и в особенности воды — мало, в обрез. Вот и собирай росу, глотай свой пот. Но, повторяю, ребята у тебя будут первоклассные, только нужно ничему не удивляться, многое терпеть. И — нервы, нервы, нервы. Не один офицер упал с кручи, не у одного нашли дырку в затылке. Вопросы есть?

Слушая полковника, Борисов чувствовал, что бледнеет, что беспомощность пронизывает не только мозг, но и тело. Он только теперь понял, что это — нечто прыгающее из желудка в горло, из горла в темя, есть страх, который он не хотел замечать, отказывался распознавать. Беспомощность заставила. Лавина информации, беспощадно обрушившаяся на него, разрушала все его представления о войне, об армии на войне, об офицерской чести, долге, обязанностях. "Я как мальчишка, оторванный от папы с мамой и брошенный в детский дом". Контуры бесчисленных вопросов появлялись и исчезали, не оформившись, не облекшись в плоть слов. "Я тут, как внуч на бабе. Чего это я все о бабах? Эх, Света, Света... Нужно бы все же о чем-то его спросить... А то ведь подумает, что я какой-то тупица..."

— Если вы формируете группы из старослужащих, то кто же будет обучать молодых?

Полковник улыбнулся своей желтой улыбкой:

— Это я вам, старший лейтенант, по дороге скажу. Идем ужинать.

При виде своего хозяина татарин одним упругим движением вскочил со стула и вытянулся. Борисов посмотрел на его огромную обувь и представил удар носком по груди жертвы так, чтобы лопнуло сердце, и хищную улыбку на плоском лице.

Полковник махнул рукой:

— Оставайся, Иван. Запри все, поставь дневального.

И гуляй до завтра. Со мной лейтенант пойдет, видишь, какой он здоровый, и, между прочим, занимался дзюдо, это у него в личном деле имеется.

Татарин с жадностью кота посмотрел на Борисова, руки его зашевелились. На улице полковник рассмеялся:

– Ревнует. Этот, если не убьют наши же, наверняка останется в армии. Он честен и сметлив. С такой рожей, но женщину тут завел, а слабого пола у нас, можете поверить, не густо. Из военторга женщина. Принимает Ивана по пятницам. Он тайно от меня собирает деньги к ее пятидесятилетию, тайно договорился с нашими фарцовщиками – те ему добудут гэдээровскую комбинацию. Представляешь? Ну, пятьдесят не пятьдесят, а все равно вернется домой богатой... нет, нет, Ольга Алексеевна, вдовушка, денег не берет, она честная давалка. Только подарки. А уж на них она до смерти припеваючи жить будет. Если китайская болванка не угодит на ее точку. Только вчера или позавчера на периметр базы их упало штук десять, несколько, конечно, не разорвались, качество у китайцев гораздо хуже нашего. И прицельности никакой. Зато удобно, не нужен им ствол, положил голубушку на камень, отошел, пустил ток – и полетела себе, а куда – не все ли равно? Однажды прямым попаданием угодила как раз во время ужина в офицерскую столовую – троих офицеров, как корова языком слизнула. Капитан Караташвили, сапер, умирая, смеялся над глупой гибелью. У нас на базе многие уже давно стали зарываться в землю, землянки рыть. Я отказываюсь, своим запрещаю, но не настаиваю. Мы не на фронте, а духи не немцы, чтобы я от них под землю прятался... Да и пачкает это честь мундира. Высокопарно сказано, а все же... Голову попусту подставлять глупо, но и

зарываться на своей территории не стоит. Всему должна быть мера.

Борисов, мокрый от пота, с отрадой ощутил в зное признаки приближающегося вечера, помечтал о кондиционере, о ветре, о кружке ледяного кваса. Страх в теле блуждал по-прежнему.

Офицерская столовая была большой палаткой. За столами шумели танкисты, связисты, саперы. Две официантки, некрасивые и не молодые, но чувствовавшие себя под сдержанно-жадными глазами мужчин и красивыми и молодыми, улыбочиво сновали между столов.

— А вот и наши там, в углу, сумел десант захватить самое прохладное место. Вот вам взводные, ротные, начштаба, замполит, связь. Остальные работают. Товарищи, прошу любить и жаловать — старший лейтенант Борисов Владимир Владимирович. Принял командование вторым взводом, ночью пойдет на соединение со Сторонковым и Бодрюком.

Офицеры встали, некоторые странно щелкнули каблуками и наклонили резко головы. Борисов вспомнил: в училище любили играть в русских офицеров дореволюционного времени, многие искали в своем роду знать, царских офицеров, а находя или выдумывая их, хвастались. Но это было фантазией курсантов, забавой молодых людей. Боевым офицерам вести себя так в присутствии командира полка и замполита... немисливо! "Они тут действительно дошли до ручки, что ли?"

— Зарулов.

— Саркян.

— Платонов.

— Андропов. Ничего не поделаешь...

— Звонарь.

Борисов, пожимая руки, ощутил желание тоже так подурачиться, щелкнуть каблуками, но сдержался, зная, что он, только прибывший, новичок, выглядел бы при этом глупо.

Сапер майор Платонов воскликнул, вертя круглую головой и всем своим видом подчеркивая свою принадлежность к средней полосе России, где в характере смесь упрямства и фатализма:

– Лида, бутылку заветную мою принесите. Нашего полку прибыло, нужно же отметить.

Раздался веселый голос официантки:

– Какую же заветную твою? Их много.

– Коньяк, коньяк! Господа, это сюрприз для всех. Прибытие нового нашего боевого товарища следует отметить... бутылкой французского коньяка. Что скажете?

Радостные возгласы были заглушены проходящей колонной, струйки пыли проникли в столовую, напоминая о стали и огне войны. На мгновение, следя за ползущей к нему змейкой пыли, Борисов напрягся, ожидая взрыва, вздрогнул, словно взрывная волна прокатилась над головой, передернул плечами и рассмеялся, отгоняя наваждение:

– Что, действительно, есть французский коньяк? Здесь?!

Замполит полка подполковник Звонарь грустно улыбнулся:

– В капиталистической стране Афганистан можно найти буквально все – от "Стингера" до самого причудливого японского презерватива. А уж коньяк... Вы не можете себе представить, лейтенант... как будто мусульманская страна, а когда мы пришли, оказалось, что спиртного, кроме, правда, водки – полно. Афганцы в Кабуле ни в чем себе не отказывали. В провинции

дело другое, в провинции до сих пор средневековье. А коньяк можно и сегодня добыть, еще остался.

Командир десантного батальона капитан Саркян поднял стакан, полюбовался на переливающуюся ореховокрасными тонами жидкость и воскликнул:

— Тост, господа. Предлагаю выпить за нашу 105-ю гвардейскую десантную дивизию. Да хранит ее Бог! Да ниспошлет ей Господь победу! Да защитит ее Всевышний... не только от храбрых афганцев!

Подполковник Звонарь развел руками:

— Хватит, товарищи, хватит. Ну что за мальчишество! Стоит новенькому появиться, сразу театр. Пейте лучше да советы хорошие лейтенанту давайте, а то действительно подумает, что мы несчастные реакционеры, а я не замполит, а глава монархического кружка. Скажи им, Вася.

Полковник Осокин мягко улыбнулся:

— Мы здесь среди своих, старший лейтенант это понимает. Мы с ним уже подружились. На войне побаловаться не грех, но — меру, меру нужно знать. А мы здесь, замполит, ее не нарушили. Вот после второй бутылки... у меня тоже заветная бутылка есть, но только водки, не обессудьте. Кстати, что у нас сегодня на второе? Пача? Отлично, как раз к водке. Пача, старший лейтенант, чудесное афганское блюдо — плов с отварными овечьими ножками. Пальчики оближете. Но вам ночью на работу, так что советую остановиться на коньяке.

Командир десантного батальона майор Андропов поднял свой стакан:

— За вас, лейтенант. Получаете отличных ребят. Я их в Деванче в деле видел. Деванча, лейтенант, это квартал Герата, там жарко было, уличные бои самые паршивые, какие только могут быть. В горах вольготнее.

Быстро привыкнете. Что-то заботит, лейтенант? Лицо у вас хмурое. Говорите смело, тут действительно все свои. Сами видите, сами слышите. И до нас перестройка докатилась, а с ней и гласность.

Борисов помнил предостерегающие слова полковника, думал об осторожности, но кругом была обескураживающая откровенность, боевое товарищество плотно обступало его. Такого он в жизни еще никогда не испытывал. И Борисов отказался от осторожности:

— Дома все только и говорят об эвакуации, о нашем поражении. Я был уверен, что мы вешаем американцам лапшу на уши. Но в Кабуле мне серьезно сказали, что это — не липа. Я... я не понимаю, как же так? Неужели нас ждет позорное поражение?

Борисов увидел, что все переглянулись, словно то ли сказал он глупость, то ли нарушил табу. "Я так и знал, полковник мне наврал, боевой дух против духов поднимал, блядь!"

Раздался спокойный голос замполита:

— Вопрос вы задали серьезный. В таких случаях нужно отвечать что положено: о возможно уже выполненном интернациональном долге, об успехах политики национального примирения. Либо напомнить на худой конец, что мы — солдаты и наше дело выполнять приказ, а не обсуждать его, тем более размышлять о высокой политике. Но я все же скажу следующее, понимайте как хотите: англичане обещали уйти из Египта в 1887 году, но обещание свое выполнили в 1946. А теперь давайте выпьем и поговорим о чем-нибудь другом.

Новая колонна сотрясла палатку, пустила пыли, прогрохотала победно-тяжело. На этот раз пыль, проникшая в столовую, словно была навеяна гибелью врагов, славой. "Мы не можем не победить". А страх про-

должал себе прыжками холода давить на сердце и на что-то в затылке старшего лейтенанта Борисова.

II

В вертолете было привычно тесно. Борисов устроился так, чтобы дать телу максимально расслабиться. Когда он подошел к группе, ожидавшей у МИ-8 погрузки, кто-то, не разобравшись в темноте, хлопнул его по плечу:

— Вместо Земляного послали копыта откидывать? Откуда взялся? Салага? Чугунок? Курева набрал? Чего не отвечаешь? Или уже в отключке?

Говорившего оттянули, прошипели на ухо об ошибке.

— Простите, товарищ старший лейтенант, обознался. А то знаете, некоторые для спокойствия перед вылетом по три-четыре косяка шабят, а анаша афганская она черная, сильнее не бывает. Одни цепенеют от нее, другие без воды жить не могут, тырят ее у всех, а страшнее этого в нашем деле ничего не бывает. Тут один поиграл, говорят, в Гастелло: взорвал "пчелку", людей и себя. А все потому, что не хотели ребята его подвести под монастырь, видели, что он в отключке, а все равно пустили... Так что я решил проверить...

Еще на пороге офицерской столовой молчавший весь ужин капитан Зарулов, коллега-десантник с тремя орденами, шепнул ему:

— Будь осторожен, лейтенант. Солдаты наши совсем озверели. Бойся их больше, чем духов. Вот тебе мой совет.

Действительно, пока Борисов готовился к операции, получал харчи, комбинезон, оружие, боеприпасы, ИП, прорву таблеток, он везде ощущал на себе взгляды,

начиненные какой-то сосредоточенной злобой. "Или мне так кажется? Ведь они меня не знают, я им ничего еще не успел сделать плохого".

Пока перекуривали, отойдя от вертолетов, Борисова обступила группа. Мусульманский месяц слабо освещал лица, придавая им трупную бледность. Здоровенный старший сержант, судя по легкому акценту прибалт, горячо заговорил, играя машинально десантным ножом:

— Таищ старлейтенант, вы только что из страны...

— Откуда ты это знаешь?

— Видно. Вы еще не "афганец". Скажите, что, действительно нас скоро выведут? Действительно войне конец, а нам дембель будет? Когда домой? Да говорите вы, сейчас ведь позовут!

Борисов услышал в голосе не только требование, но и угрозу. Он ответил полуоткровенно:

— Не знаю, ребята. Всякие слухи бродят. Я же не начальство.

Раздались тяжелые вздохи:

— Все так говорят. Может, нас завтра домой отправят, а что, запросто, а нынче что же, все еще бродить за цинковым бушлатом, что ли? Пусть черножопые друг друга режут, нам этот Афганистан до фени...

Борисов почти закричал, постарался не услышать услышанного, но не смог, безотказно сработало вложенное в него стремление пресечь, уничтожить в зародыше, не допустить...

— Кто, кто это сказал? Оставить разговорчики!

В группе ядовито хихикнули, и наступило тяжкое молчание. Старший лейтенант большим усилием воли заставил себя добавить:

— Я вас понимаю, ребята, но поймите, как мне, офицеру, на такое отвечать?

Старший сержант поднял руку:

– А и правда, что вы к нему прицепились? Человек только приехал, наших порядков не знает. Давайте не будем, он молодой, а мы молодых любим.

Раздался хохот, искренний, но не дружелюбный. Борисов проклял себя за несдержанность, глупость. "Это тебе не казарма, не учения, не караульное помещение. Тут надо круговую оборону держать. Если уже даже свои десантники такие разговоры ведут, то что же остальные думают? Нагадили, ух как нагадили эти сволочи со слухами о выводе войск. Они там в Москве умничают, а пулю в спину мне получать, что ли? Да, прав полковник, прав капитан, нужно быть предельно осторожным".

Из тьмы одного из вертолетов вынырнул на свет месяца грузный капитан. Он подошел вразвалочку к курящим:

– Перекур закончен. По "пчелкам". У нас сегодня один "шмель". Все проверить. Если найду что лишнее в РД, лично бить буду, духам ничего не достанется.

Он остановил Борисова, подождал, пока группа не раскололась на две, не пошла колонной по два к вертолетам:

– На медном руднике 13 наших штатских духи зарезали. Два поста афганских ублюдков там есть – пропустили. Кишлак рядом – не донесли. Афганцев, союзничков наших милых, приказано не трогать, хотя дураку ясно, что они были подкуплены. Их, недоразвитых, надо стрелять. А мне приказали кишлак почистить. Тьфу, никак не привыкну. А тебя, лейтенант, по дороге выкинем. Как услышишь, что "пчелка" пошла на снижение, как увидишь, что ковбой начали клоунов пускать, – готовься к сигналу. Все ясно? Вопросов нет? Вперед и ни пуха.

— К черту.

Латаный-перелатаный вертолет дрожал всем своим дряхлым существом, натужно кашлял, болезненно почихивал в безвоздушном пространстве — так казалось Борису — неся в безобразном шуме к огромному черному бездонному колодцу. Автомат, пистолет, гранаты, нож были смехотворно нищей защитой. В семье только тетя Оля, младшая сестра матери, была верующей, и Борисов любил добродушно над нею смеяться. Теперь он с теплотой вспомнил ее любовь к нему, ее доброту; она не может ему помочь, потому что Бога нет, но мысль о ее молитве к Нему, дабы Он спас племянника, принесла Борису единственную тихую радость. Он вспомнил: его в трехлетнем возрасте тайно крестили — тетя Оля настаивала, матери вообще нравилось все таинственное, а отец долго не сопротивлялся, хотя за это по головке не погладили бы, особенно по партийной линии, мог запросто угодить в черный список. Но, как отец рассказывал после, сам комполка своих тайно крестил, так что одного из друзей, да к тому же одного из лучших офицеров части он как-нибудь бы защитил. Отец всегда стоял горой за соблюдение обычаев, а крещение как-никак наш древний обычай, старая народная привычка, да и превосходнейший повод покутить от души — раз речь идет как раз о спасении души. Эта шутка всегда вызывала отцовский хохот, а у тети Оли добрую, чуть грустную улыбку.

Вой, кашлянье и чиханье вертолета быстро стали привычными и превратились в особую тишину, в которой собственные мысли кажутся чужими, отдаленными. Чувство беспомощности перестало вызывать злобу, а лишь легкую жалость к себе. "Эх, Света, Света". Он вдруг понял, что никогда на ней не женится. Да, не

выйдет она замуж ни за старшего лейтенанта, ни за капитана, ни за майора Борисова. Не достаточно он выгоден для нее, а она жертвовать ничем не привыкла. ...Света с ее московской мордашкой, акающей московской скороговоркой была холодна. "Белорыбица". Она давала только тогда, когда считала нужным, расчетливо. Никаких порывов. И ей вечно не хватало денег, хотя деньги она одновременно и презирала. А в любви была скупа, заставляла ждать и ждать, в постели бывало отворачивалась без всякого повода, бормотала "спать хочу" и, не обращая внимания на его жадные руки, действительно засыпала за минуту, дышала ровно, словно младенец, а он до середины ночи смотрел в потолок, тихо бесился. Вместо счастья — нытье в груди. Нет, если меня ранят — не хочу ее в госпитале, если убьют — не хочу ее на похоронах... Но меня не убьют и даже не ранят, правда, Борисов? Правда, правда.

МИ-8 пошел на снижение, и в желудке старшего лейтенанта образовалась четкая пустота, а нервы придали телу скрытую пружинность и силу. Вот он, сигнал! Его похлопали по плечам, спине. Кто-то пожелал ему локтем в ребра удачи. Яркие вспышки разнеслись от вертолета. "Клоуны". Вертолет застыл, прожектор осветил лунный пейзаж. Вертолет переместился. "Чего он себя выдает? Ну да, если были бы здесь душманы и был у них "Стингер", то они все равно видели бы нас как днем. Но их нет, правда ведь, Борисов, ведь правда? Правда, правда".

Он все-таки поспешил и ободрал себе руки. Вертолет, быстро спустив Борисова, посветил напоследок и умчался в своем безобразном будящем все живое шуме. Старший лейтенант Борисов стоял на плосковатой вершине небольшого холма в двадцати километрах от

пакистанской границы. Ему нужно было спуститься по правому склону, пройти несколько километров до трех скал, обойти их, найти удобное место для круговой обороны и ждать ребят. Как ему сказали, шансов при этом наткнуться на врага меньше, чем сломать ногу, тем более, что к нормальному весу военного барахла прибавили пятнадцать литров драгоценной воды. Он знал, что с каждой сотней метров каждый килограмм будет наливать весом, станет сначала для восьмидесяти пяти килограммов Борисова чертыханием, затем проклятием, наконец, адовым мучением... Он долго осматривал местность в ночной бинокль и, поблагодарив месяц, постепенно перемещающийся, бледнея, к невидимому горизонту, пустился в путь – подумав все же, что было бы славно, чтобы в эту секунду или в следующую, или ту, что после придет, афганский снайпер не благодарил тот же чудесный и проклятый месяц. Время от времени Борисов останавливался, дольше, чем это было необходимо, глядел на компас, водил ночным биноклем, отыскивал новый ориентир. Мыслей не было, только отрывки воспоминаний, как бы прорывавшихся сквозь усилия тела сосредоточиться на своем существовании, мелькали вспышками: отец дарит ружье; он целуется с совсем позабытой Таней из 9"Б"; он медленно тянет водку из стакана, на дне которого лейтенантские звездочки; он отказывается запивать водку чехословацким пивом... Только перед самым рассветом он обогнул три остроконечных скальных зубца...

– Кенгуру побежали, старший лейтенант.

Борисов судорожно вскинул автомат. "А если это духи? А если душманы хотят взять меня живым? Они уничтожили мою группу, пытками заставили пленных... Чушь какая! А что, что делать? Ах да, пароль! Надо

быстрее его сказать, а то как бы не убили. Запросто ведь могут”.

— Они дерутся. Они дерутся!

— Дуло-то, дуло к земле опусти, а то как бы греха не вышло.

Борисов медленно, чувствуя, как вместе с облегчением на него наваливается страшная усталость, опустил предохранитель, медленно повесил автомат на шею и так же медленно поднес к глазам ночной бинокль: из-за разбросанных вокруг него по склону глыб вышло не меньше пяти человеческих фигур с гигантскими глазами и с чем-то вроде пик в руках. Это не могли быть люди из его группы! Но это не могли быть и душманы! Он заставил себя не ухватиться за автомат. ”Я сдурел, они ведь знают пароль, называли меня старшим лейтенантом на чистом русском языке. Но почему у них такие глаза?”

Борисов резко выпустил из рук бинокль. Тот ударился об автомат. И Борисов проклял себя за шум-звяканье.

В разжижающейся уже темноте руки стали пожимать его руку, здороваться.

— Присядем, командир. Позавтракаем, пообедаем и поужинаем. Ашдвао не потерял, командир? Мы сутки уже не пивши, двое не евши. Вот она служба. Спасибо за воду. Сядем, сядем. Каждому по сто грамм. Нас тут пять, старший лейтенант. Трое бродят вокруг, а вторая группа ждет на выходе из ущелья. Так что отдохнете часок, подкрепитесь, и в путь-дорогу. До западни нашей, мышеловочки, ходу минут двести. Хотя, простите, товарищ старший лейтенант, командир ведь вы. Забылся я, забылся.

Борисов поморщился:

— Ладно, давайте не будем. Не вижу я вас, а вы-

ражение морд угадываю. Помогите мне, а я вам. И без меня, сами знаете, две группы будет, две группы есть. Это ты, Сторонков, со мной говорил?

— Я-а-а.

— Тебя Бодрюк слушает?

— А он и не должен.

— Вот именно. Кумекаешь, к чему я веду?

— А чего кумекать, все ясно.

Страх, уходя, впрыснул в ноги слабость. Борисов обрадовался передышке. Утро словно забросило свет из-за гор им на голову. Еще в темноте Борисов понял: глазищи, как у упырей, были очками ночного видения. "А я как дурак с биноклем спотыкаюсь. Они у них либо американские, либо японские... Откуда они их взяли? И батарейки к ним? Откуда?" Но увиденное им при свете утра едва не заставило его взвыть от яростного возмущения и ахнуть от неподдельного изумления. Все пятеро были в странных куртках. У каждого за поясом было по пистолету, у троих — с навинченным глушителем! Старший лейтенант Борисов поперхнулся. У старшего сержанта Сторонкова был заткнут за пояс на спине новейший пистолет для разведки со встроенным глушителем! Больше того — каждый держал в руке "драгуновку"!

"Ничему не удивляйся, ничему не удивляйся. Легко сказать. Не подразделение, а действительно банда какая-то! И откуда, откуда у них такое оружие? А автоматы свои куда они делят? А оделись, оделись, как этот самый, о котором писали, как его... Рамбо! Что у нас, армия или бардак бесконечный? Все уставы — к черту! Так ведь никакая армия не выдержит, рассыпется, это ж табор, табор цыганский... Спокойно, возьми себя в руки. Да, нервы, нервы и еще раз нервы. Хорошо, что полковник меня предупредил. Он все-таки человек.

Да, возьми себя в руки, а то не видать тебе дома, не духи, а эти бандиты тебя прикончат”.

Борисов хмуро, но спокойно спросил ласково попивающего воду Сторонкова:

— А обувь такая откуда? Уставы, ребята, они все же уставы. Как вы думаете?

Сторонков жмурился от удовольствия, причмокивал, словно жевал водяные капли. Это был маленького роста парнишка. Худенький, но по уверенным движениям, упругости шага, плотным мышцам шеи в нем угадывалась немалая сила и выносливость. Он мог бы казаться жилистым шестнадцатилетним парнем, если бы не морщинки на лице, не иронически-мудрое выражение глаз. Он словно все время повторял: ”Над кем смеешься?” И тут же отвечал: ”Над собою и мной, конечно”.

— Ботинки американские, командир. Американский спецназ, говорят, в них на задание ходит. В наших говнодавах по этим камням ногу вывихнуть легче легкого. Но давай, командир, поедим. У нас колбасный фарш, галеты, сгущенка. Да, забыл, вы знакомьтесь с личным составом. Мы все — последние из могижан. Это Коля Глушков. Из Кишинева. Отлично стреляет. На последних стрельбах наш приз завоевал, ”три палки” называется.

— Что это?

— Как бы вам объяснить? У нас устраиваются стрельбы каждые две недели, хотя в принципе стрелять нужно каждый день, не терять привычки... но не всегда удается. Так вот, победителю предоставляется на общий счет, как бы вам сказать, ну... блядь что ли. Хотя что, блядь и есть. Одни рублями берут, другие чеками, третьи только афгани признают... А это Володька Пименов. Он из-под Фрунзе. Он дурной, свой

колхоз любит, но мы его уже почти перевоспитали. Не курит, в этом ему повезло. Говорить не любит, тоже повезло. А этот, узкоглазый туркмен, который чавкает, хорошим манерам никак не обучим, — Борис Тангры, он вообще-то Тангрыкулиев, но кто ж такую фамилию может произнести, в особенности здесь. Он откуда-то оттуда, не могу запомнить его дыру...

— Кара-Богаз-Гол. Покрасивее твоего Ленинграда.

— Не Ленинграда, а — Питера. Сразу видно, что сельскохозяйственный техникум кончил. Борис, кстати, наш переводчик. Всякие "дрышь" да "бача" мы все знаем, но когда человека нужно допросить со всей серьезностью, тогда Борис работает. А это Артур Куманьков, самый сложный из нас — стихи пишет. Радист, а говорит так, что родная мать не поймет. Бурчит так, что артприкрытие всегда по нам и приходится. Шучу, конечно, хотя и не такое бывало. Артур из Питера, как и я. Ему перед вертушкой не повезло — проиграл контрольный. Или выиграл. Это — с какой стороны подойти.

— Какой?

— Контрольный выстрел. Вы что, командир, не слышали разве? В каждого поверженного врага нужно дать контрольный выстрел, обычно сюда, за ухо нужно палить. Но можно и просто в голову. Афганцы мужики крепкие, цепкие — в нем пять дырок, а он себе лежит и ждет, пока к нему не подойдешь, не отвернешься, чтобы дать тебе последний выстрел, прежде чем предстать перед Аллахом. Так лучше — тут начальство правильно понимает — дать контрольный, чтобы только он, а не вы вдвоем предстали перед Аллахом, а то ведь у него куда больше шансов попасть в рай, чем у меня или тебя. Да и контрольный — он в сущности добрый: ну чего человеку мучиться? Здесь, да еще в такую жару, рана в голову,

грудь, живот — почти всегда означает цинковый бушлат. Да вы ешьте, ешьте, раз вода есть. Без витаминов десантнику хана: кожные язвы, фурункулез, авитаминоз понижают зрение, замедляют реакцию на опасность.

Борисов чувствовал: скалы вокруг быстро накалялись в безветрии. Только что выпитая вода потом залила ему лицо. Он решительным жестом оторвал от губ флягу и под одобрительным взглядом солдат подвесил ее себе на ремень. Одна фраза Сторонкова его потревожила, она была произнесена странным тоном. Что же это была за фраза? Что-то важное? Ах, да!

— Почему у духа больше шансов попасть в рай, чем у тебя?

Сторонков рассмеялся без всякой доброты:

— Потому что афганец верит в Аллаха и дерется за свою ватан, а мы в Аллаха не верим и деремся, чтоб отобрать у него ватан.

— Что такое ватан?

— Родина.

Борисов вновь ощутил себя в опаснейшем окружении, в таком, когда не знаешь — где свои, где чужие, хуже: когда не знаешь — кто свои, кто чужие. По холодной улыбке Сторонкова он понял: сержант прочел его мысли, знает его опасения, разгадал страх. Это вызов, нельзя на него отвечать...

Поев, Сторонков с наслаждением закурил, как будто с меньшим удовольствием слушая молчание старшего лейтенанта:

— А вот и остальные идут. Вокруг, значит, тихо. Вон тот большой впереди, это пулеметчик Пашка Сергийюк, наш хохол из Ивано-Франковска. Его уже три раза афганцы приголубили, но так легко, все навывлет в мякоть, что и отпуска не получил. Второй, это Колька

Богров из Норильска. Он объявил себя убитым, так что, как он думает, убить его второй раз невозможно. Когда дембельнется, тогда и воскреснет. А третий — наш "священник" отец Анатолий, в миру Куроть, держите с ним ухо востро — он русский националист. Я не знаю, что это такое, но, наверное, нечто опасное. Отец Анатолий точнее всех и дальше всех кидает гранаты, жилистый и ловкий донельзя.

Борисов смутился, побоялся насмешки, но все-таки спросил:

— Он что, действительно, подпольный священник? Или это его кличка?

— Ни то, ни другое. Он единственный верующий в нашем хозяйстве. Отец Анатолий каждому добыл по нательному кресту, вот, посмотрите. А так как он заботится о наших душах, то как же ему не быть священником. В русской армии до революции в каждой части было минимум по священнику. Только после их уничтожили и заменили комиссарами. Разве не так? Беда только, что отец Анатолий молитв наизусть не знает, вот и придумывает всякую ахию, но для души такая ахию лучше, чем ничего, не правда ли, товарищ старший лейтенант?

"Это провокация. Они ждут, выдержу я или нет. Не выйдет! Как все-таки жарко, никогда не думал, что на земле может быть так жарко, лучи солнца отражаются от скал, марево вокруг какое-то. Ах да, нужно что-то ответить", — вспомнил Борисов.

— Не знаю. Скажи, группа Бодрюка, она тоже такая... своеобразная?

— Конечно! Я же вам сказал, мы все последние из могикан и полные психи. А как же иначе. Ну вот, все в сборе, можно и трогаться, с вашего разрешения,

конечно. Кто не поел не попил, пусть подкрепляется на ходу.

— Пошли. Только последний вопрос: о себе, сержант, ты так ничего и не сказал.

— Забыл, забыл. Из Питера я. Мама есть, папа есть, дедушки есть, бабушки есть. На истфаке учился, историю любил, но меня она никак полюбить не хотела, вот и выгнала в армию. Теперь, как видите, сам, своими руками историю страны родной делаю. Пошли. В путь-дорожку.

Борисов резко встал:

— Пошли! Соблюдать тишину!

Он знал, что говорит глупость, но он был обязан взять группу в руки, подчеркнуть свое присутствие как командира. Вес его поклажи уменьшился наполовину, и старший лейтенант был благодарен окружающим его людям за заботу, хотя одновременно знал: не о нем заботятся, о том, чтобы без задержки донести груз до ущелья. Если б нужно было выбрать между грузом и мною...

Двое ушли вперед, двое остались прикрывать. Минуты тянулись долго, время тучным чертенком садилось на плечи, кололо мышцы, наливало чугуном ноги, сжимало грудь, вливало в горло огонь, ослепляло... Борисов, опытный альпинист и скороход, был вначале, несмотря на усталость от первого перехода, уверен в себе и даже мечтал, дав группе свой темп ходьбы, показать всем этим старикам, где раки зимуют. Но довольно скоро он стал замечать в себе острые признаки усталости, в то время как у других, кажется, ничего подобного не было. Люди шли не торопясь, молча, упруго-лениво. Наконец, когда Борисов уже перестал мечтать и думал только, хватит ли ему воли не осрамиться перед подчиненными, Сторонков

поднял руку: привал. Борисов заметил слегка удивленные взгляды и ощутил жгучую благодарность к Сторонкову. "Он не захотел меня опозорить, хотя выгода ему в этом явная, смешать меня с говном. Да, чего там, он знает, что до самого дембеля командовать группой все равно будет на деле он, а не я..."

Место для привала было выбрано удачно — с трех сторон нависали скалы, четвертая уходила ровным склоном вдаль. Двое из непообедавших ушли за скалы, остальные отошли подальше в тень под скалу. Старший лейтенант облизнул горячей слюной сухие губы, рука потянулась к фляге и остановилась на полпути: никто не пил, никто не курил. Все, кроме Сторонкова, легли, расслабились, задремали. Борисов сел в сторонке, подумал и решил все-таки всех удивить: закурил. Сторонков порылся в РД и воскликнул с досадой:

— Так и знал, одни лимонки дали, сволочи. Я им говорил: "пяток" дайте, "пяток". Я что, даже за гранаты буду им платить, что ли? Нате вам, дождетесь!

— Что такое?

— А то, старший лейтенант, что они вам одних лимонок понасовали, а у лимонок, как вы знаете, большой радиус поражения. Для нашей засады они в общем-то подходят, но для гор они — дрянь, как и РГ-42, ее рубчатая стальная лента дает слишком много осколков, и набиты они как попало. Один осколок летит на несколько метров, а другой — прямо в хозяина. Мне нужны наступательные, РГД-5, радиус поражения небольшой и осколки в принципе равномерно летят. Ладно, я им скажу! Хорошо, что ныне мы в засаде.

Борисов пересел поближе к сержанту:

— Слушай, раз ты завел разговор об этих делах... Где ваше личное оружие? Почему у вас всех "драгу-

новки"? И эти пистолеты откуда, в особенности твой? Я тебе скажу честно: не знаю, как отнестись ко всему этому... У нас ведь все-таки армия, а для вас будто уставы не писаны. Мне трудно понять.

Сторонков пытливо посмотрел на командира, в глазах его запрыгали искорки, тонкие губы скривились, то ли от тайного смеха, то ли от рождающейся злобы. Он провел рукой по лицу, возвратил ему спокойствие. Заговорил тихим, почти елейным голосом:

— Если жить по уставам в этих горах — нас всех бы давно в живых не было. Сколько ребят из-за них полегло — никто не считал и никто никогда не подсчитает. Мы нынче в засаде. Нам нужна высокая дальность прицельного огня. У АК-74, дерьма этого, его нет. Мой "дракон" все живое прицельно пронизет на полкилометра. Мой оптический прицел, он же прицел ночного видения, не хуже любого американского или японского. Видите этот патрон — он калибра 7,62, это старый патрон трехлинейки с увеличенным зарядом пороха. И чтобы я ради устава поменял мой "дракон" на вшивую швейную машинку? Никогда! Вы сами увидите, если, конечно, повезет. На войне половина успеха зависит от умения и оружия, другая половина — от боевого счастья. Я с детства люблю оружие — не потому, что оно дает власть над жизнью, а потому что, если его любить и холить, оно вернее верной собаки. Оружие накормит и от беды спасет, другому беду посылая. Я, как видишь, лейтенант, ростом не вышел, в детстве во дворе нашем меня часто обижали, били, бутылки сдавать все время посылали, унижали. Любовь к оружию спасла. И что жив еще, что, Бог даст, дембельнусь на своих двоих — ему во многом буду обязан... Я тебе все десять патронов обоймы вгоню в гвоздь на все сто, не то что в голову храброму

афганцу. Так что не оскорбляй моего "дракона". И знай, каждый свой "дракон", свою "драгуновочку", "драгунку" любит и в обиду ее не даст. Смотри на ребят: каждый гладит свою, заглядывает ей "в глаза", чистит, ухаживает... Если что, мне говорите, я постараюсь понять, это входит в мою работу. С другими поосторожнее будьте, могут не понять-с и рассердиться, хоть они рядовые, а вы — старший лейтенант.

Борисов был, конечно же, знаком с винтовкой Драгунова, знал ее как отличную снайперскую винтовку, но слушая рассказ о ней как о живой, как о любимой женщине, увидел в себе ущербность человека, вдруг обнаружившего скудость своего внутреннего мира, который он раньше считал не хуже любого другого. Он, профессиональный военный, увидел впервые, как мистика, явная, плотная, окружила оружие, и мистика эта исходила от тщедушного паренька, производящего вместе с тем впечатление очень сильного человека, от бывшего студента-историка, ставшего волей войны частью ее самой. Неужели он любит войну, сам того не понимая?

— Хорошо. Учту. Но все-таки скажи: где же ваши АК? Как бы неприятностей не было. Мне ЧП, сам понимаешь, ни к чему.

Сержант рассмеялся только ртом, в глазах его продолжали скакать искорки спокойной полумечтательности-полубезумия:

— Не бойся. Все давно предусмотрено. Они будут в вертолете. За деньги любую услугу любой окажет, все дело в цене. Банально, но факт. Все привезут, все, что по вашему уставу положено. Вернемся на базу — хоть фотографируй героев-интернационалистов!

Сержант произнес последнее слово с таким пре-

зрением, что у старшего лейтенанта мурашки по спине побежали. "Я их не понимаю, а ведь это опасно. И вредно для дела, для работы. Я должен их понять и как можно быстрее". Он еще думал о психологии, о том самом ключике, лежащем в мозгу каждого офицера и открывающем дверь в волевые центры солдата, как в ноздри его заполз неповторимый сладко-кислый и резко-мягкий запах гашиша-анаша. Борисов обернулся: двое, он никак не мог вспомнить их фамилии... один из них был украинец, другой из Кара-Богаз-Гола... глубоко вдыхали, держа выпяченные губы в сантиметре от сигарет, судорожно запрещали гашишному дыму подняться из горла — лица уродливо дрожали, чтобы затем застыть на мгновение в менее уродском покое. Борисов со страхом вспомнил слова того парня перед посадкой в вертолет. Что же это? Только этого мне не хватало! Он схватил за руку Сторонкова:

— Шабят?! Как ты это позволяешь? На задании! Ты что, соображаешь, что делаешь?

Сержант спокойно отодвинулся:

— Соображаю. У нас на работе разрешается два косяка в сутки. Черная анаша крепкая, два косяка дают легкий приход, прибавляют сил, позволяют забыть о воде, усталости, страхе, а рефлексy остаются, в общем, нормальными. Не водку же нам с собой тащить — тяжело, дорого, вредно. Главное, следить, чтобы ребята не превышали норму, не перевыполняли план по плану. Чего? Давали же на фронте двести граммов, чтобы человеку было легче подышать... Что это на вас лица нет, товарищ старший лейтенант? Вы на войне. Думаете, во время завоевания Кавказа наши анашу не шабили? Еще как! И не нужно быть историком, чтобы это понимать. Это теперь с трудом, но все же можно водки достать — ее везут в цистернах, вертолетами, са-

молетами, в танках. Начальство находит с неохотой только десятую часть, потому что многие наверху знают: клин клином вышибают. Пусть лучше водку глушат, чем сначала анашу, а после героин шабить. И они правы, если дело касается тыла. Мы — другое дело. Как и те, которые воевали на Кавказе, да не два года, а десять-двадцать лет, — тоже были другое дело.

Борисову нечего было ответить, хотя он знал: этот сержант не может быть прав. Нормально нужно было бы их всех под трибунал, но кто тогда воевать будет?.. Прав, прав полковник, а всё к этой особой его правоте привыкнуть не могу. И причем тут Кавказ?

И он растерянно спросил:

— Да, действительно, причем тут Кавказ?

Сторонков театрально помахал руками:

— А чем вам тут не Кавказ? Горы, горцы, мусульмане и кацапы всякие, с ними воюющие...

Подошедший к ним Сергийюк хохотнул:

— Не слушайте его, таищ лейтенант, он всех нас замучил своей историей. Подождите, он вам и про Александра Македонского этого расскажет. Не обращайтесь внимания. Скажи лучше, Витя, сколько нам поспать еще осталось?

— Минут десять. А так как ты меня, хохляндия, позоришь перед лейтенантом да историей пренебрегаешь, не понимая, что без прошлого нет будущего, то я тебе приказываю, тебе и твоей сухой наркоманской глотке, спеть перед маршем нашу родную. Давай! Он, товарищ лейтенант, хорошо поет. Давай, запевай, а вы все идите сюда и слушайте да подпевайте. Заводи, заводи нашу, афганскую. Первую.

Борисову еще в части во Фрунзе друзья дали послушать песни, официальные, полуофициальные и неофициальные 40-й "афганской" армии. Он прослушал

их с восторгом, в них была угрюмая простота солдата, тоска по дому и любви, которую побеждает чувство долга без прикрас. И возможность погибнуть присутствовала в песнях без надрыва. Там в Союзе Борисов слышал в "афганских" песнях спокойное знание неизбежной победы над врагом в сочетании с мыслью, что, мол, платить за победу мы привыкли, какой бы ни была цена. Один капитан ...как же его фамилия?.. сказал после выпитой бутылки водки, что "афганские" эти песни такие же солдатские, как он — папа римский, но Борисов ему не поверил. И теперь не верил, слишком они были настоящие. Ныне, в горах, идя на задание, возможно, на смерть, на подвиг, старший лейтенант приготовился, расчувствовавшись, услышать одну из них из уст бойца... мог ли он себе это представить тогда, в волнении наклонившись к магнитофону? Отголоски войны с песнями шли прямо в его душу, алчущую и карьеры, и настоящей власти, и славы для себя и родины.

Сергийку подмигнул и запел приятным баритоном:

Из Румынии походом
Шел Дроздовский славный полк,
Для спасения народа
Выполняя тяжкий долг.

Генерал Дроздовский гордо
Вел свой полк вперед, вперед.
Как герой он верил твердо
В то, что родину спасет.

Шли дроздовцы твердым шагом,
Враг под натиском бежал.

И с трехцветным русским флагом
Славу полк себе стяжал.

Пусть вернемся мы седыми
От кровавого труда.
Над тобой взойдет, Россия,
Солнце новое тогда.

Борисов слышал – все подпевали нескладно, но песня набирала все большую силу, хотя все пели вполголоса. Услышать подобное не только в Афганистане, но и в Союзе было невообразимо, непредставимо.. Солдаты поют здесь, в Афганистане, белогвардейские песни!

Пока группа готовилась к маршу, Сторонков, которому вновь явно понравилось изумление старшего лейтенанта и его молчание, спросил:

– Слышали уже эту песню?

– Нет. Где я служил, часто пели старые, дореволюционные, в основном казацкие песни. Но такую – никогда.

– Это "Дроздовский марш". Славный был генерал, а? Его тоже надо реабилитировать. А мелодию узнали?

– Конечно. "По долинам и по взгорьям".

– Да, но раньше, намного раньше, это был "Марш амурских стрелков". В девятнадцатом веке. Нет ничего нового под луной. Пошли, что ли. Теперь до самой засады нашей без перекуров будем топать, а в засаде, сами понимаете, не покуришь.

– Да, пошли. Только скажи, пожалуйста, ведь вы группу Бодрюка оставили одну, чтобы меня встретить. А если душманы в наше отсутствие из ущелья выйдут, тогда что?

Сержант усмехнулся:

– Тогда Бодрюк один разбогатеет, но это вряд ли.

Через долину афганцы днем не пойдут. По долине от ущелья до ущелья им шагать километров пять-шесть, не меньше — днем слишком опасно. Обычно они в таких случаях идут перед рассветом, хотя, конечно, иногда, зная, что мы знаем, решаются идти на прорыв и днем, но — редко. Так что у нас все шансы увидеть Бодрюка под балдой — он героиним балуется, но тоже в меру.

”Разбогатеет? А, он имеет в виду — получить еще одну награду. Медаль или даже орден. Дроздовский марш они поют, а о наших советских орденах мечтают. А они что, все наркоманы, что ли?”

Борисов, удобно повесив АК на шею и прикрепив РД на спине, спросил небрежно сержанта:

— Хоть кто-нибудь у нас тут не употребляет эту пакость?

— Отец Анатолий. Не курит, не пьет. Но зато баб любит больше всех. Все на них тратит. Пришлось часть его доходов на руки ему не давать. Он раз в Кабуле — мы как-то три недели под городом по горам лазили и многих ребят потеряли — одного педика сильно побил только за то, что не мог понять, как можно баб не любить. Счел, в общем, равнодушие к женщинам страшным преступлением.

Группа тронулась. Лица замкнулись, стали сосредоточенными. Множество вопросов вертелось в лихорадочно бужущем мозгу Борисова. Белогвардейцы, анаша, попы, героин, педики, недопустимое отношение к уставам — все это говорит о полном разложении. С другой стороны, эти люди явно стали профессионалами похлеще многих старых офицеров, это видно, это чувствуется. Как же эти противоречия уживаются? Хотя... хотя посмотрим, каковы они в деле. Одно дело красоваться, другое воевать.

Он повторил в уме последнюю фразу несколько раз,

хотя в глубине души знал: умеют, умеют они воевать. И ему нужно будет учиться и учиться у этих ребят. "Я в принципе должен им сегодня прочесть лекцию о международном положении и продолжающемся вмешательстве империалистических кругов США во внутренние афганские дела, об успехах политики национального примирения, об экономических и социальных успехах республики Афганистан. Должен-то я, конечно, должен, но если они мне прямо в морду рассмеются, то не видать мне хотя бы уважения к моему мундиру с их стороны как своих ушей... А интересно: может, и у них стукач имеется? А почему бы ему не быть? Спрошу обязательно у Сторонкова, хотя, возможно, стукач сидит в группе Бодрюка.

Склоны становились все круче, спуск — тяжелее подъемов. Запас сахара иссяк и силы из гудящих ног стали уходить в кремнистую землю все быстрее и быстрее. В глазах темнело, язык распух, внезапное головокружение раза два едва не бросило его вниз, как он подумал, под собственные ноги. Он проклял себя за то, что не тренировался перед отъездом, что пил в Кабуле и вечером перед отлетом, что хвастался перед полковником и перед самим собой своей силой и выносливостью. Борисова догнал колхозник из-под Фрунзе — фамилии и имени почему-то никак ему не запоминались — и с жалостью на лице протянул ему красивую баночку:

— Пейте залпом, лейтенант. Это чистый лимонный сок. Американский. Сразу поможет. А после вот таблетку эту под язык положите. Тоже американская, "мультивитамин" называется. А еще после и эту таблетку проглотите. Она японская, воду в теле удерживает.

Борисов еле выдавил из раскаленного рта:

— Спасибо тебе. Не забуду.

Парень ответил:

— Да я не для этого. Просто жалко вас стало, больно уж вы мучаетесь. Но вы не беспокойтесь, поначалу все так, через это пройти надо. Некоторые салаги не выдерживают. Есть такие, что даже воду крадут, а страшнее этого здесь почти ничего нет. Ну, я пошел, а то сержант уж стал на нас поглядывать. Он, в общем, у нас нервный, анекдотики любит рассказывать, все смеются, а у самого глаза колючими остаются... Да ладно, заболтался я. Не бойтёсь, скоро уже...

”Уже четыре часа. — Борисов отвел локоть и посмотрел на запястье. — Руки вон в крови, проклятый кустарник! Нет, не женюсь на Свете, это точно. Сегодня же разорву ее фотку. Я о ней должен был бы думать с надеждой, знать, что она тоскует, ждет, верит, что дождется. Но не любит она любовь, правда, и деньги не любит. Белорыбица... А я через полчаса, какие там полчаса, через десять минут никого любить не буду — ни армию, ни родину, ни Свету — рухну и подохну. А они все себе идут — и хоть бы хны. Откуда люди такие взялись, в Союзе я таких не встречал. Они — настоящие профессионалы, но у нас не может быть профессиональной армии. Профессиональная армия — это преступление, за одну только мысль о ней нужно офицера расстрелять. И правильно, я ведь иду и не знаю, кто будет в меня стрелять первыми: душманы или свои же солдаты”...

Чей-то насмешливый грубый голос заставил старшего лейтенанта поднять налитую усталостью голову:

— Шумите вы, братцы-кролики, что вас за версту слышно. Я бы своим за такой подход к месту ярмарки такое б впаял! А ты, Славка, всегда добрый такой, что,

гляди, до дембеля не дотянешь. Мне одному все достанется.

Говоривший был очень плотным коротконогим парнем. Он словно вынырнул из камней. "Это наверняка Бодрюк. А Сторонкова зовут, значит, Славой. Они явно соперники". Коротконогий подошел к Борису, четко козырнул; в другой свободно опущенной руке — "драгуновка", большой оптический прицел ночного видения был расчехленный. Это стало для Борисова как бы преддверием боя. Часть усталости сразу ушла из тела в камни.

— Товарищ старший лейтенант...

— Хорошо, хорошо. Ты — Бодрюк. Зовут как?

— Алексеем.

— А я Борисов. Возьми-ка мой РД, в нем вода.

— Спасибо. А то мои пить хотят. Заждались.

Знакомиться теперь будете?

— Отдохну малость. Сторонков сказал, душманы обычно перед рассветом идут?

— Да, обычно. Только они такие козлы, что обычное обычным трудно у них назвать. Наша позиция там, метрах в ста. Вам старший сержант Сторонков покажет, он добрый. Разрешите идти?

— Идите. Я скоро наведаюсь.

Желтая узкая долина догорала под солнцем внизу метрах в трехстах. Нависавшие над нею горы, казалось, наступали, стремясь раздавить, и в мареве отступали обратно. На противоположной стороне долины из котловины выползло засохшее русло речки, в нем тек переживший лето тощий и грязный ручеек. В бинокль Борисов не без волнения следил за судорогами желтой воды, ищущей удобных путей в мертвом русле. "Ишь, тоже жить хочет". Дикая красота места заставляла забыть о войне, о цивилизации, нужно было усилие,

чтобы вернуться мыслями к работе. Он подозревал Сторонкова:

— Они, значит, из этого ущелья должны выйти? Так. А почему бы не устроить у самого выхода минное полюшко, там достаточно узко?

Старший лейтенант лежал расслабленно в тени камня, лицо его было спокойно, но страх, избавившись от груза физических усилий, необходимых, было, хозяину тела для перехода, вновь начал попрыгивать-поскакать, щипать то желудок, то горло. Поэтому Борисов и старался говорить равнодушным тоном, употребил непривычный термин "минное полюшко". Он не послушался совета, оставил на себе бронезилет — и потому едва дошел до заставы. "Эта глупость была необходима. Я могу закрыть глаза на ужасающее нарушение уставов, потому что у меня другого выхода нет, но сам, как офицер, я не могу, не имею права следовать их примеру. Не могу же я идти у них на поводу".

Сторонков словно читал его мысли. Он сел под лейтенантовский камень, прислонился к нему спиной, но карабина из руки не выпустил:

— Я понимаю, товарищ лейтенант, трудно и рыбку съесть и ... Я вам честно как старшему товарищу говорю. Трудно командовать на войне, когда войны не знаешь, трудно нарушать уставы, когда веришь в них как в Бога. Но, скажу тебе, лейтенант, что до тебя было много офицеров — салаг, совсем не понимающих специфику нашей работы здесь. Ты — один из лучших. Я правду говорю. Один, например, с первой же минуты стал угрожать... это из недавних. Убили его на первом же задании. Нет, что ты, что ты... мы его просто не берегли. А мины ставить у выхода из ущелья нельзя: афганцы после первого же взрыва уйдут обратно, и пиши пропало. Ставить немного дальше тоже не имеет

смысла: они могут пойти направо, налево или прямо, попробуй угадай. Кроме того, что же, мины на себе таскать?

Борисов кивнул:

— Понимаю. Но я заметил, что у вас вообще гранатомета нет. А ведь положен.

— Опять двадцать пять. Положен! Тащить его и боеприпасы к нему — тяжело, а прицельности у него никакой. Афганцы бегают по горам, мы бегаем по горам. Был бы у нас хоть один мул, но — не положен; быть может, правильно, маневренности с ним меньше. Да и дурные они. У афганцев с мулами большие трудности — у них сила лошади и выносливость ишака, но в отместку есть склонность к неожиданному безумию, даже к самоубийству. И стоят они дорого — не меньше легковушки. Поймите, лейтенант, все, что мы делаем, основано на долгом и дорогом опыте. Тысячи ребят полегли по дурусти уставов, тысячи перегрелись, перемерзли, перетравились. Да взять всех, выбывших за годы войны по дурусти только нашей, а не афганского умения — несколько дивизий наберется. Сколько лет десант гнали в лоб на афганские позиции! Да до сих пор в горах автомат шлют против карабина! Вот, возьмите ваш АКМС-74: увеличенная начальная скорость пули со смещенным центром тяжести. Я вам уже говорил? А что любое препятствие посылает эти проклятые пули обратно? Вы не в афганцев, в себя рикошетом палите. А в лесу, в "зеленке" можно половину взвода сразу положить... своего же, себя же. В вас сверху из карабина с такого расстояния, что вам и не снилось, а вы своей трещалкой — в самого себя. Благодарствую! У нас для ближнего боя есть старые АКМ. Больше уводит, но зато нормальные пули нормального калибра не возвращаются — и прицельная

дальность больше. А для ближнего боя ничего лучше и не надо. Так что ты, лейтенант, свой автомат положи в сторонку в той же тени, все равно до афганцев с ним не дотянешься. Мой совет: ляг за пулемет.

Борисов грустно улыбнулся:

— С тобой трудно спорить. Хорошо, согласен, лягу за пулемет. Но все равно устав есть устав. Как положено по уставу, так и буду делать — хотя бы для того, чтобы собою вас прикрывать. Если ко мне никто не сможет придрататься, то и мне легче будет вас защищать от начальства. Стукачи везде есть.

Сержант коротко и зло рассмеялся:

— У нас их нет.

— Как так?

— Деньги. На базе все нужные люди на нас работают, все подкуплены. У нас стукачу лучше сразу писать завещание. А начальство все и так знает, но только то начальство, которому от успешной нашей работы сплошная выгода: награды, звания, чины, ну, разумеется, кое-кому и деньги... Вижу, хотите у меня спросить, мол, а откуда же деньги. Не спрашивайте, скоро все увидите и все поймете. Ладно, пойду, а вы отдыхайте... пулеметную позицию давно приготовили — вам. Да, вот еще что: по окрестностям советую не прогуливаться, ребята гранаты натянули вокруг — это тоже никакими уставами не предусмотрено. От кольца нити тянутся в обе стороны к кустарникам, камням. Отец Анатолий всегда часть гранат определяет на мгновенный взрыв. Поставил натяжки — и можешь спокойно спать...

Борисов лег поудобнее в тени, пожевал с наслаждением теплой воды из фляги, закрыл глаза... Он мне то тыкает, то выкает. Как это понимать? Вероятно, не встал я им поперек горла, первое впечатление произвел

неплохое. До дружбы, до уважения далеко, но... Неужели я действительно через несколько часов вступлю, если повезет, в первый свой бой в жизни? Я ведь и не дрался никогда, не приставали как-то ко мне, ни на танцах, ни на блядках, из-за большого роста, наверное. Силы во мне всегда было много, вот и побаивались... Что за чушь приятная в голову лезет. А Света все-таки стерва. Ну и пусть будет стервой, подумаешь. Надо ей написать что-нибудь такое едкое и вместе с тем равнодушное.

Борисов незаметно для себя уснул. Сон ему снился приятный, сотканный из мягких нежных красок и музыки. Дышалось во сне, как на берегу моря, краски и музыка колебались, шептали ему о счастливом одиночестве. Так было хорошо, что и с собой не хотелось говорить. Из сна его вырвал холодок. Солнце ушло, свет дня еще жил, но сразу похолодевший. Поеживаясь, поглядывая на потемневшую пожухлость травы внизу, он достал из РД плотный тонкий свитер, подаренный на прощанье матерью, быстро надел его, радуясь своему знанию гор, своей предусмотрительности. Мимо прошел парень из Норильска. Как же его? Как же... да!

– Богров, присядь-ка, хочу с тобой поговорить.

Парень спокойно остановился, спокойно сел рядом, даже не оглянулся на других, что, мол, ничего не поделаешь, приказали, сам к офицеру никогда бы не подошел. Они действительно полностью доверяют друг другу. У них, наверное, такая круговая порука, что кроме взаимного доверия ничего быть и не может.

– Что ты думаешь об этой операции?

– А что мне, убитому, думать? Операция она и есть операция. Но если, таиц лейтенант, действительно серьезно подумать, то отношусь к ней положительно.

Может быть, афганцы вообще не придут, командир их-ний другой маршрут выберет. Тогда мы отдохнем, после вызовем лопасти и укатим домой на отдых. Если придут, то афганский караван будет небольшим, чисто военным, так нам полковник сказал, а разведка у него туго поставлена, он сукам-хадовцам хорошо платит, да и место такое, что большому количеству народа тут не пройти, — да и незачем гражданским тут ходить от границы вглубь страны. А если народ будет через это ущелье уходить в Пакистан, то препятствовать не будем, пусть себе уходят. Они все равно нищие. Но, впрочем, не думаю, охота им сейчас ноги стирать, все равно ведь мы скоро уйдем.

Борисов внимательно посмотрел на солдата:

— Ты же знаешь: есть приказ обыскивать все караваны даже внутри страны на предмет обнаружения оружия и боеприпасов. А ты говоришь "пусть уходят". Да ты садись, садись.

Богров аккуратно сел, не выпуская из рук карабина. На "пакистанке" у него висела лимонка, подвешенная за кольцо. Это тоже было строгойше запрещено — лимонка могла за что-то зацепиться, оторваться. Борисов поколебался, но решил промолчать. После боя посмотрим. А пока я для них необстрелянный салага, только и всего. Ладно, смеется тот, кто смеется последним.

Говорил Богров тихо, даже степенно, словно обдумывал каждое слово:

— Приказы, таищ лейтенант, на войне бывают часто донельзя глупыми, это я давно понял. Но и глупый приказ нельзя не выполнить. Обыскивать колонны кишлачников, прущих Бог знает куда, — глупо. Слишком много ребят погибло при выполнении таких заданий... Чтоб проверить, нет ли у них оружия, нужно

войти в толпу, в самую гущу. Баб все равно обыскивать невозможно, а по ихней религии положено, чтоб баба была закутана с головы до ног, а на морде у них тоже салфетка с дырочками имеется, паранджой называется. Идешь мимо бабы, а она, может, не баба, а мужик-афганец, но даже и баба может запросто ножом или еще чем ударить. Месяца три назад почти всю группу мою так перерезали, только пять моих дружков остались насовсем в том проклятом месте, а капитану выбили глаз и раздробили челюсть, до сих пор в Ташкенте через нос кормится. Ну, конечно, положили мы из всякого оружия почти весь бродячий кишлак или даже два, больше тысячи человек. А толку никакого, ни им, ни нам. Они убитые, а мы убиваем, кому приятно? Никому. Я-то убитый только до дембеля, мне легче, я за свои грехи, в общем, не отвечаю... ну, я, который будет живой после дембеля... но все-таки неприятно... Так что мы приказ не нарушаем, просто прошли гражданские, а мы их не видим. А раз их нет, то и приказ выполнить нельзя.

Борисов вновь поколебался:

— Да, сложный вопрос. Посмотрим. А почему это ты сказал, что мы скоро уйдем?

— Западные голоса говорят... В Женеве переговоры идут. Вроде бы наши соглашаются.

Борисов искренне изумился.

— Ты это о чем?

— Да про зарубежное радио. Сволочное оно, конечно, обзывает нас по-разному: звери, наркоманы, палачи, говорит, мол, что мы, русские, всегда были такими, захватчиками. Радуются, когда афганцы нас кончают. Но на то они и иностранцы, это я, в общем, зря их сволочу. Но зато информации они дают навалом. И "Голос Америки" слушаем, это радио вроде покуль-

турнее. Они даже афганские наши песни передавали. Марши белых мне по душе, но афганские песни ближе, все-таки о тебе поют. Но сержант запретил их петь, называет, как это... развесистой клюквой.

В мозгу старшего лейтенанта четко завертелось: "империалистическая пропаганда достигает цели, сеет панику". Он растерянно спросил:

— У вас есть транзистор?

— Ого, лучший из лучших. Японский. У нас им ведает Куманьков. С этим транзистором можно весь мир слушать, он, по словам Артура, специально сделан для миллионов, имеющих свои яхты, ну, корабли свои личные.

— И ты не боишься мне прямо об этом говорить?

Глаза старшего лейтенанта угрожающе сверкнули, как показалось Богрову, ядовитым огнем. Но Богров вовсе не испугался, было ему только немного странно, будто увидел на лице мальчишки жизнь, свойственную взрослому человеку. Богров мягко улыбнулся и сказал, не желая, в общем, обижать этого, хоть и офицера, но как будто неплохого парня:

— А чего мне бояться, мы ведь все в одной парилке, и полка тут только одна — третья. Нам нужно дружить, таищ лейтенант, другого нам здесь не дано.

— Но ты же все-таки знаешь, что за распространение информации западных радиостанций можно попасть под трибунал?

Мягкая улыбка Богрова не изменилась:

— Здесь нет никаких трибуналов. Тут мы и афганцы. И заградотрядов тут тоже нет. Мне дед рассказывал, как в ту войну отступающих расстреливали из пулеметов. Мы тут сами вроде партизанского отряда. Афганцы партизанят, ну и мы партизанам. Вам сержант обо всем этом лучше расскажет — и то, что

счета нет ребятам, которые кишки свои разбросали в этих краях зазря, пока не додумалось командование такие вот группы, как наша, сформировать в большом количестве и бросить в бой. Сержант говорит, что наверняка командование сперва уговорило партию и правительство дать в некоторых случаях офицерам и даже младшему командному составу, как это, забыл... да, право на инициативу. Я так понял, что это — право самому решать, отступить или наступать, спрятаться или показаться, ну, и всякое такое. Сержант даже говорит, что во время той войны у командиров этого права на инициативу не было: сначала офицер не мог даже отдать приказ без разрешения комиссара — и потому у нас полегло по дурусти не меньше десяти миллионов человек. Сержант говорит, что не о цифре нужно думать, а представить себе сложенные в штабеля трупы от земли до луны. У нас тут на этой войне штабель тоже наберется не такой уж крохотный, хотя и не чета тем. Но ведь мы здесь не... В общем, здесь нет и не может быть трибунала. Сержант...

Борисов его раздраженно перебил:

— Много твой сержант говорит! Ты сам думать должен. Что ты думаешь о том, что мы можем уйти?

Богров с удивлением посмотрел на офицера:

— Тут и думать нечего. Чем быстрее война кончится, тем лучше. Вернемся домой, ничего важнее этого нет и быть не может. А я из убитого снова стану живым. Пока воюю. А что — другого выхода ведь все равно нет.

Борисов яростно махнул рукой:

— Ни х... ты не понимаешь! Уйти — это поражение! Поражение! Позор! Это оскорбление всему народу, стране! Да понимаешь ли ты, что после этого нас перестанут бояться?!

Улыбка Богрова не посуровела. Он только уселся

поудобнее, положил карабин на колени, погладил оптический прицел, оглянулся, словно говоря "сержант вам лучше скажет", снова перевел глаза на офицера, поднял брови, мол, сержанта нет, так я постараюсь тебе выложить правду-матушку, простую такую, всем как будто понятную, странно даже ее и говорить:

— Какое тут может быть поражение? Ну, серьезно, таищ лейтенант, кто же может у нас поверить, что афганцы нас разбили? Смешно. Ведь все знают, что сильнее нас да американцев на свете никого нет. Так какое же может быть поражение от афганцев, какое нам оскорбление, какой позор? Наоборот. Знаете, как должно быть во всяком хозяйстве что-то не выходит, переключаешься на другое, только и всего. Не вышло у нас тут, ошибку совершили — ну и ладно. Наоборот, все нас за умных примут. А что американцы нам по радио говорят, то кто же им поверит.

Борисов сжал руками голову, постарался себя успокоить. ...Ничего не понимает. Им бы только домой вернуться! Спокойно, спокойно, все ждут дембеля, любовью солдат в Союзе считает дни, бани, километры съеденной селедки, рвет листки календаря. Так почему я должен здесь другого от людей ожидать? Потому что они воюют? Защищают честь армии в бою? Да плевать им на армию! Нет, не плевать, он же только что ее защищал. Вот-вот, я погорячился.

— Ладно, я погорячился. Сам не пойму почему.

Богров еще раз улыбнулся, спрятал улыбку, будто в карман:

— Это бывает в засаде, когда ждешь и ждешь. Главное, говорит сержант, чтобы человек это знал, иначе можно всю группу подвести под монастырь... Вы будете у нас или пойдете к Бодрюку?

— Схожу к Бодрюку, но затем вернусь, пулеметчиком ведь меня тут назначили.

Оба рассмеялись. Старший лейтенант протянул руку солдату, и тот крепко ее пожал:

— Я скажу Тангры, он лучше всех позиции знает. Он вас проводит. А я посплю, мне на пост через час.

Парень из Кара-Богаз-Гола оказался молчаливым и угрюмым, шел быстро, уверенно, не проверял, поспевают ли за ним офицер. Борисов, стараясь шагать по горячим следам ефрейтора Тангры, думал о гранатах, ждущих отошедшего ненароком в сторону. Этот туркмен, может, только об этом и мечтает — увидеть мои кишки на кусте каком. Надо будет о нем порасспросить. Мало ли что, яблоко от яблони... Подойдя к какой-то невидимой черте, Тангры остановился и прошептал громко:

— Даешь Берлин?

Близкий голос ответил:

— Отцы взяли. Идите.

Бодрюк встретил старшего лейтенанта суетливо, заботливо усадил в темноте на камень-стул за камень-стол, быстро орудуя штыком-ножом, вскрыл несколько консервных банок, аккуратно подвинул к правой руке Борисова галеты, поставил перед ним два небольших термоса:

— Кофе. Горячий еще, сегодня варили. А в этом водочка. Была ледяная, а нынче уже только теплая. Вы закусывайте, закусывайте, товарищ старший лейтенант. Я вам помогу в темноте, не ждать же луны, правда? Голод не тетка, жажда не теть. Сторонков небось не кормил, не поил вас? Он жмот, жмотом и останется. Вы пейте, пейте. Термосы мои, не афганские, без причуд.

— Без причуд?

Бодрюк печально хохотнул:

— Американцы понадавали афганцам термосов, а те их нам оставляют. И термосы те — с причудами. Хоть кувалдой бей, ничего не будет. А нальешь туда горяченького — и хана. Год назад капитан Гулько, мой земляк, да шестеро ребят с ним пили чай в Герате из такого термоса — всех в клочья. Да вы водочки, водочки попейте. Если разрешите, составлю вам компанию. Я вам налью, свет нам запрещен, афганцы могут разведку послать — спичкой можно засаду сорвать. Я не пролью, водка у нас на вес золота. Но для вас ничего не жалко, да вы угощайтесь, угощайтесь.

Подобострастный тон Бодрюка нравился Борису, переносил его в недавние нормальные времена казарменного быта. Он вновь почувствовал себя хозяином, офицером, которого боятся, от которого зависит судьба солдата. Зная, что его лица в темноте не видно, он зацокал языком:

— А стоит ли водку пить перед боем? Не дуришь ли ты, сержант?

— Что вы, что вы, в лучшем случае засада заговорит только перед самым рассветом. Ночи тут на высоте холодные, водка для тепла и ничего другого, от нее через час одно воспоминание в голове останется. Вы покушайте, попейте, поспите, а я уж разбужу вас, когда афганцы подойдут. Оставайтесь у нас, товарищ старший лейтенант. Со Сторонковым все равно договориться нельзя, с этим кацапом драным... Простите, товарищ старший лейтенант, знаете, я его кацапом, он меня хохлом кличет, но мы это не со зла. Оставайтесь. Я вам "драгунку" пулеметчика дам, пусть рыдает. У нас и безопасней вам будет, первое же для вас дело. Сторонков вас еще под пулю подставит, по глупости,

конечно. Он дурной, гордый очень, как все маленькие людишки, образованностью своей хвастается.

Сержант Бодрюк наклонился к уху офицера:

— Вы сами слышали небось, Славка ведь не скрывает, что мы здесь вроде второй Кавказ завоевываем, что мы империалисты. Он не только своих, он и моих всех заразил этой глупостью. Я им говорю, мол, мы здесь выполняем интернациональный долг, помогаем афганскому народу покончить с феодализмом и построить светлое социалистическое будущее, а они верят не мне, а Сторонкову. Он мне друг, верный человек, вы не сомневайтесь, но авторитет мой поганит. Вы ему скажите, чтобы к моим людям и не подходил.

Борисов с наслаждением выпил налитую ему сержантом небольшую кружку водки, с удовольствием почувствовал, как разливается жар по телу, успокаивая и расслабляя нервы. Бодрюк становился ему все симпатичнее, потому и захотелось подтрунить над ним.

— Так-то оно так, критикуешь Сторонкова, а у тебя самого разве японского транзистора нет, разве твои западные радиостанции не слушают, а?

Появившийся из-за гор полумесяц полил местность ртутно-холодным светом. Бело-зеленоватой стала внизу долина. Лица приобрели трупный оттенок... Бодрюк зашипел:

— Это Сторонков, гад, вам сказал?! Э, нет, не мог он этого вам сказать, на такую подлянку у нас никто не способен, а он и подавно. На пушку берете... нехорошо. Нет у нас никакого транзистора!

Голос Бодрюка, ставший презрительно-угрожающим, внезапно вернулся к добродушно-заискивающим тонам, но было поздно: Борисов понял, что сержант его не боится, что нет никакого возвращения к казарменному

быту и почти безраздельной власти над солдатами. Если это так, то Бодрюк может быть еще опаснее, чем Сторонков, потому что — хитрее.

— Да это я так спросил. В группе Сторонкова есть транзистор, вот я и подумал, что по логике и у тебя может быть. А если нет, то тем лучше. Кстати, раз речь зашла о политике, мне нужно провести политинформацию. Что посоветуешь?

Бодрюк сказал заискивающе-почтительно, но старший лейтенант все равно уловил издевательские нотки:

— Придут афганцы нынче или не придут, все равно, думаю, что вы можете прочесть лекцию завтра днем после обеда. Только я бы вам посоветовал не военную тему. Лучше бы вам рассказать о перестройке и гласности, о последних событиях в Союзе, ну, что вы в газетах прочли за последнее время, какие хорошие передачи были по телику — до нас не все доходит, да и времени свободного нет на этой войне. Я все устрою, проведем мероприятие по всем правилам.

Борисов задумался: "Что же ему от меня нужно? Почему вдруг заискивает? Я думал, он на Сторонкова хочет бочку покатить, но это не так. Ладно, все равно узнаю".

Он выпил еще водки, похлопал Бодрюка по плечу:

— Договорились. Хорошо, пойду теперь обратно к Сторонкову, погляжу, здесь, вижу, все в надежных руках. Какая группа первой открывает огонь?

Бодрюк замялся:

— Сторонков. У Славы аппаратура лучше. Нужно, чтобы караван вышел из ущелья полностью, отошел не очень далеко, но вместе с тем, чтоб не могли афганцы туда вернуться... Группа Сторонкова ближе к ущелью, она и начет, она и следить будет, чтоб ни один афганец не засел за камни — тогда хлопот не

оберемся. Я вам дам провожатого. Спасибо, товарищ старший лейтенант, за доверие. Оправдаю. Но, может быть, вы все же осмотрите позицию перед уходом?

— Я же сказал: доверяю. Да и опыта у тебя в этом деле куда больше... Небось, про себя меня салагой-слабаком называешь?

— Ну что вы, товарищ старший лейтенант, как вы могли такое подумать? Это Сторонков может не только так подумать, но и сказать. А я — никогда.

И второй провожатый оказался молчаливым. "Может, у них просто так положено, а я о туркмене сразу нехорошо подумал. Провожатому нужно найти точную дорогу в темноте, не до болтовни. Я все-таки слишком подозрительный, нельзя так. Но, с другой стороны, кого доверчивость не губила, особенно в армии?"

Проводив старшего лейтенанта на позицию первой группы, провожатый прошелестел "даешь Берлин?" и исчез. Борисов вернулся на свое старое место, прислонился к ледяному уже камню и приказал позвать Сторонкова.

— Ничего нового?

— Ничего, товарищ лейтенант. Ну, как там Бодрюк? Орал, что я империалист?

— Да, не любит он тебя. А ты не опасаясь, что...

— Нет. Он отличный парень, но невежа, в тактике ничего не понимает, а бредит наградами. Хохол, ничего не поделаешь, хочет вернуться в свою деревню с "красным знаменем", а то и со звездочкой. Чтоб хвастаться и карьеру сделать. Вот ж... каждому офицеру и лижет, старается — и язык не болит. Но он никогда никого не продаст, можете на этот счет не беспокоиться... Хотите поспать? До рассвета еще далеко.

— Да, посплю. Только хочу у тебя спросить, а то

вопрос в башке вертится, покоя не дает: почему вы говорите "афганцы", а не как все, — "духи", "душманы"? Есть тому особая причина?

Сторонков долго молчал. Месяц ушел в тучу и ночь стала для Борисова, городского жителя, чернее темноты — нигде не было и намека на существование света на земле. Тянувшееся молчание сержанта Борисов ощутил как часть черной ночи. Стало неуютно, страх вновь ожил в теле.

— Не просто ответить на твой вопрос, лейтенант. Эту привычку нам привили старики, а мы прививаем молодым. Мы сами "афганцы" и воюем с афганцами. Наджибовцев (тарковцев, аминовцев, бабраковцев) мы афганцами не зовем, не заслужили они этого, сволочи. Они виноваты в том, что мы здесь гибнем уже черт знает сколько лет. Они захватили власть, ну, с нашей помощью, конечно, но удержать ее не смогли, воевать, гады, не умеют, бегут, как зайцы, после первого выстрела, перебегают к афганцам с нашим оружием. Трусые и предатели, сначала предали своих, а после и нас. Самое что ни есть говно. А афганцы за своего Аллаха воюют, и неплохо, — вот мы и называем их афганцами. Кроме того, нужно уважать врага, презрение к нему, пренебрежение усыпляет, снимает осторожность, следовательно, уменьшает шансы выжить. Вот.

Он недоговаривает, умалчивает. Но в том, что он сказал, все равно много правды. Да, я им лучше о перестройке чего-нибудь расскажу, а то и опростоволоситься можно в два счета.

С этими мыслями Борисов уснул без снов. Проснулся он от руки на своих губах и шепота:

— Идут, лейтенант, уже показались из ущелья. Ты тихо иди, тихо ляг за пулемет. Откроешь огонь после

моего выстрела, не раньше. Бей по ответным выстрелам, бери чуть ниже, боеприпасов не жалея. И ни пуха...

"У меня глупо колотится сердце, в ушах звон, руки дрожат, ноги ватные. Почему так душно стало? О, Господи, если ты есть, хотя я знаю, что тебя нет, спаси меня, не дай опозориться, не дай им меня убить". Борисов осторожно дошел до пулемета, лег, достал бинокль. Он увидел очертания мулов и людей, насчитал сорок мулов и человек семьдесят, идущих уже по равнине. Метров триста до них будет. Достану! Достану, если они не сменят направление. Идут, идут. Чего он ждет? Они уже от ущелья отошли достаточно, нет, даже ста метров не будет. Да что это я, стрелять ведь буду сверху вниз, да я их и на полкилометра могу отпустить, все равно не уйдут. Мои они, мои...

Он услышал только первый выстрел, затем все потонуло в грохоте и лязге. Он никак не мог перезарядить, обжег о ствол руку, но все равно у него, в общем, получалось, он посылал на огоньки очередь за очередью. "Раз я стреляю, значит воюю, значит все хорошо, как надо". Что-то толкнуло его. Он ощутил, как ему показалось, странную слабость, приходящую после ранения. Перезаряжая, понял: до него дошла уже слабая взрывная волна, толкнула его на пулемет. Пули все искали его, все визжали, он был в этом уверен. Когда рассвет брызнул светом из-за горы, старший лейтенант Борисов израсходовал все боеприпасы, бывшие у него под рукой. Он никак не мог унять бившую его крупную дрожь. Все мышцы были как каменные, болели руки и шея. Он пощупал голову, похлопал в веселом безумии себя по бокам, по ногам, почесал первобытным движением грудь. И только после этого догадался, что перестрелка продолжается. Выстрелы хлопали с ровным интервалом. Лежащий неподалеку

туркмен Тангры ровными движениями целился, послал очередную пулю, перезаряжал. "Как на конвейере. Молодец". Достав свой большой бинокль, Борисов принялся было шарить по полю боя. Раздался взрыв гранаты. "Недолет. Никуда не ходи! Стреляли вон из-за того мула". В труп животного вошли пули семь-восемь, не меньше. Из-за другого мула показались чалма и дуло карабина, раздался выстрел. В ответ труп мула пробили пули пять-шесть. Наступила тишина. "Какая-то она хрипящая, будто вот-вот закашляет. Никогда такой тишины не слышал". Возле ущелья на разном от него расстоянии были разбросаны трупы. Не успели добежать, а ведь тому вон оставалось метров двадцать. Его сняли почти на полукилометровом расстоянии. Молодцы ребята, молодцы! Борисов пополз к Сторонкову. Видеть его позицию мешал камень. Обогнув его по-пластунски, радуясь боли в руках, крови своей, оставшейся целиком в теле, он увидел перевязанное плечо сидящего на камне в укрытии Сторонкова. Рядом, стоя во весь рост, помогал ему натянуть свитер Богров из Норильска. Борисов заставил себя встать: "Я должен это сделать, хотя и не объявлял себя убитым".

— Куда ранили?

Сторонков бросил на него хмурый взгляд:

— Если Колька дурной, то нечего ему подражать, господин старший лейтенант. В мякоть плеча афганец попал, порвал кожу, кусок мяса унес, до свадьбы заживет, и ни одна комиссия не спишет, мать ее ... А Пашку убили. Свой пулемет отдать вам ему велел я. Пименова ранили. Говорил я ему: не балуйся гранатами, а он свое бубнит — не хуже, мол, отца Анатолия их швыряю. Высунулся, размахнулся, дурень. Слышишь меня, гад?

— Слышу, слышу. Ой! Болит!

Сторонков заматерился, передразнил друга:

— Ой-ё-ёй! Отец Анатолий, влепи ему еще одну иглу! Дурень! И научи его уму-разуму, научи его о себе думать, а не о гранате. Ему под ключицу попало, кость, наверное, задело. Домой поедешь! Отвоевался! Будешь дома нас ждать, а мы за тебя подыхай тут! Что? Что он говорит, отец Анатолий?

— Говорит, что не виноват, что больше так делать не будет.

Сторонков сплюнул не без гордости, поглядывая искоса на старшего лейтенанта, как бы спрашивая: а у тебя есть после боя слюна? Во рту у Борисова было пекло. Жажда мгновенно вызвала спазму; он еле удержался от броска к фляге. Вдруг у Бодрюка раздалась выстрелы.

Сторонков закричал своим тонким, резко-нервным голосом:

— Они начали первые контрольные. Давай и мы. Лейтенант, можете взять Пашкин карабин, раз уж я вам его пулемет отдал. В каждого по пуле.

Карабин плохо слушался обожженных рук, от жажды и усталости темнело в глазах, но Борисов не решался пить — никто к флягам не притрагивался. Минут через десять вновь стало тихо, только на этот раз шелестел поднявшийся ветерок. Все изрешетили. Там, внизу, живого ничего не осталось. Победа!

Подошел Бодрюк. На его лице была мрачная ярость.

Сторонков спросил:

— Сколько?

— Двоих. Соловьева и Пашука. И попали в бедро Звонкому. Вот тебе и спокойная засада!

К ним подошел Борисов:

— Поздравляю, ребята! Мы...

Сторонков резко рассмеялся, неприятно, тонким фальцетом. И только тут Борисов заметил привычку сержанта держать, смеясь, ладонь перед ртом. Эта привычка показалась ему нелепой. Ведь у него все зубы на месте. Смех Сторонкова обидел его.

— Поздравлять, старший лейтенант, при всем моем уважении к вам, не с чем! Обычно во время таких засад противник совершенно беспомощен, и потери бывают минимальные, случайные. А у нас — и убитые и раненые. На каждую нашу засаду приходится десять афганских, таких вот или почти. Мы, попадая в засады, потеряли за войну больше, чем во всех открытых боях. А тут мы, не они в засаде — и все равно потери! А вы нас поздравляете! Плакать надо! Конец войны, наших поубивали, а он поздравляет! Хорошо, шампанского с собой, салага, не притащил!

Довольно поглядев на уходящего Сторонкова, Бодрюк утешительным движением положил руку на плечо старшего лейтенанта:

— Не обижайтесь на него, товарищ старший лейтенант. Он нервный у нас, псих, считает себя лучше и умнее всех, такой уж уродился. Его никто не любит, я вам уже говорил. Но нам действительно не повезло. Обидно — во время таких операций потерь обычно не бывает. Наверняка горцы шли, уверен, мы внизу много карабинов найдем, даже с оптикой.

Борисов с трудом перемалывал в себе пережитое унижение, ощущая свою беспомощность... Ладно, ты у меня, сука, еще попляшешь, ты меня, сука, еще припомнишь. Он выдавил:

— Почему горцы? Могли быть просто опытные духи, война ведь давно идет...

Бодрюк поспешил согласиться:

— Конечно, конечно, хотя даже опытный афганец так

стрелять ночью вряд ли сумеет, у них боеприпасов для учений и стрельбы только самая малость. Афганцы, в общем, стрелять не умеют — крестьяне. Немногочисленные горцы — охотники, земли ведь пахотной в горах нет. Вот они и учатся стрелять с детства. Вроде наших сибирских охотников на белку. У них это в крови — стрелять без промаха. Они в нас выпустили не меньше двадцати гранат, да что, миномет успели установить, мин десять выпустили — все недолет! Два пулемета у них внизу — тоже в свет, как в копеечку! А вот ружейным огнем... Да. С Витькой Пашуком мы полгода вместе... были. Вот я и подумал, товарищ старший лейтенант, что в нашу засаду попали горцы.

Борисов с недоумением посмотрел на Бодрюка. Он помнил разрыв одной гранаты, вероятно, последней. "Ни гранат, ни мин, ни пулеметов я не заметил, не слышал. Вот тебе и командир! Правда, я ведь и не командовал, за пулеметом лежал... Все равно непростительно. А что простительно? Салага я и есть, хотя с этим вот никак не могу примириться. И не должен. Офицер не может быть салагой! И это так Сторонкову не пройдет. Гном вшивый!"

Он спросил небрежным, но тихим голосом:

— А теперь как? Как вы привыкли действовать?

— Как прикажете, товарищ старший лейтенант. Мне... вообще-то неудобно, здесь Славкины люди, но...

— Давай-давай, я приказываю.

— Теперь нужно одному спуститься и произвести контрольные выстрелы. Остальные страхуют. По жребью, у нас так принято, идти сегодня поэту, Куманькову то есть. Да вот он уже собрался.

— А после?

— А после мы все спустимся и подготовим, так сказать, трофейный груз к прибытию вертолетов. Об

успешном, так сказать, выполнении задания уже доложили, но вертолеты будут только часа через три-четыре.

Борисов услышал свой непреклонный голос:

— Я пойду с Куманьковым. Всем нас страховать.

Услышав шаги, Куманьков оглянулся, остановился:

— В чем дело, старшой? Или я чего-нибудь забыл?

Тонкие усики делали Куманькова штатским, словно даже война не приучила его к армии. От его походки создавалось впечатление, что он никогда не стоял в строю и не шагал на плацу. Большой пистолет, заткнутый за ремень, казался игрушечным, настолько Куманьков не был похож на солдата.

— Нет, ничего не забыл. Просто решил пойти с тобой. Не прогонишь?

Куманьков улыбнулся, закурил: запах гашиша окутал Борисова; ему вдруг тоже захотелось затянуться, но он, помечтав о чистой ледяной воде, отбросил желание. Куманьков еще раз сильно вдохнул, прикрыв глаза, задержал дым в легких. Но Борисов уже разглядел его напряженный взгляд из-под век. Ложное добродушие. Этот с улыбочкой кого хочешь задавит. Бой прошел, а я будто еще не понял, куда попал. И к кому. Они наверху небось смеются надо мной, мол, заставь дурака Богу молиться... Ну и пусть, я и себе должен доказать, раз, как они говорят, имею право на инициативу... Чего он молчит?

— Чего молчишь? Не доволен?

— Что вы, милости прошу. Доброму палачу помощь всегда нужна, но святая вода не положена. Он душу свою губит, другим помогая на небо лететь. Пошли.

Они спускались долго. Молча. Иногда помогали друг другу перевалить через крупные камни. Зарождающийся день уже бросал на них свой жар, заливал

солнцем долину и горы. Куманьков протянул Борису горсть витаминов, сам кинул несколько штук в рот, запил из фляги. Борисов не выдержал:

— Слушай, почему вы все после боя воду не пьете? Что за причина?

Куманьков вытащил окурок, жадно затянулся:

— Ошибаетесь, старшой. Я уже полфляги успел перед восходом солнца выпить. Все пили, не жалели, у афганцев мы наверняка воду найдем. Все равно скоро на базу. Это вам показалось. Пейте, пейте, нет у нас такого обычая после пиф-паф не пить воды, зря мучились... Да, так вот, если Колька, ефрейтор Глушков, пропустил к ущелью хоть одного афганца, то человек этот, возможно, нас уже берет на мушку. При первом же выстреле беги обратно зигзагами к камням. Если все в порядке и все афганцы тут в долине остались, тогда иди спокойно и следи внимательно. Если у афганца в руке оружие — дай по нему один или даже два контрольных, не жди, хоть бы у него была дырка во лбу. Если оружия нет, то следи за руками и грудью. Если зашевелится — выпускай всю обойму. Хотите затяжку? Спокойнее будет и целиться легче. Ну как знаете...

Запах крови, кала, мочи, внутренностей — на зное — был ужасен. "Это и есть запах смерти". Борисову показалось, что трупы уже распухли. Большинство убитых было разбросано вокруг мулов. Запах становился нестерпимым. Его скрутило, рвота оказалась настолько сильной, что он упал, скрючившись возле трупа афганца, у которого, задыхаясь, остановился. Нервные судороги выжимали его собственные внутренности, как белье. Только в уголке сознания мелькнуло, что сам он еще безобразней трупа, пристально глядевшего на него, что его могут пристрелить, как

раненную лошадь, как вон того мула с распоротым гранатой или пулеметной очередью, его пулеметной очередью, брюхом. Борисов попытался встать, но новый приступ свалил его на землю. Внезапно старший лейтенант услышал выстрел, второй. Тело напряглось, тупо приготовилось мышцами встретить пулю — и победило разом судороги и тошноту. Это Куманьков дает контрольные, то есть приканчивает духов. Борисов встал. К нему подходил Куманьков. Подойдя, запел издевательски: "По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел, и небо, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой".

— Что это с вами, командир? Я уж подумал, вас этот афганец ножом к Аллаху отправил, такие случаи бывали. Что с вами? Вонь? Нервы? Может быть... Точно, да вы всю флягу одним махом выдули. Нужно потихоньку, в особенности если долго не пьешь после боя, тем более после первого в жизни. От воды люди пьянеют, не слышали? Говорят, в начале войны целое отделение хотели под трибунал отдать: ребята двое суток не пили, воевали как могли в середине августа, а после по литру два воды выглушили — и были косыми в доску... Однако, товарищ старший лейтенант, и вам нужно поработать, раз уж пошли с палачом. Я вам двоих оставил.

Куманьков взял пустую флягу Борисова и помахал ею над головой, постучал по ней пальцем.

— Пошли. А после с двух сторон потопаем к ущелью. На, возьми таблетки, заставь себя проглотить их.

За одним мулом лежал афганский парень. На вид ему было лет пятнадцать-шестнадцать. Он хрипло дышал разинутым окровавленным ртом, покрытым насекомыми. Из двух дыр в груди при выдохе показывалась розоватая жизнь. Карабин парня, СКС-45,

лежал рядом. Парень к нему не тянулся, смотрел молча то на стоящих шурави, то на небо, больше на небо. Борисова еще в детстве дед учил, что на войне раненых врагов не убивают – их берут в плен и лечат. В юности он услышал немало рассказов, "как немцы нас добивали и как мы добивали немцев", но считал это неправильным, лишенным благородства. Правильным было, как ему казалось, небрежно передать кому-нибудь колонну пленных, а самому продолжать, не оглядываясь, наступление на врага. Борисов также слышал, уже будучи курсантом, о насиловании немок и истреблении гражданских лиц на только что оккупированных территориях, но не верил в это, хотя и допускал отдельные случаи мести: "ведь немцы у нас такое творили". Только попав в казармы, только увидев собственными глазами, что солдат способен, впрочем, как и офицер, на совершенно невероятную жестокость и на столь же невероятную доброту по абсолютно непонятным причинам, Борисов перестал верить в невозможность чего-либо на войне. Но то была теория. Теперь он, провонявший смертью и собственной блевотиной, должен был пристрелить этого афганского мальчишку с огромными уставленными в небо черными глазами. Пусть смотрит на небо, пусть смотрит. Он знал, что не сможет выдержать взгляда мальчишки. Резкий голос Куманькова, шепелявый, заставил его вздрогнуть:

– Давай! У тебя еще один клиент есть. Ну?!

Старший лейтенант Борисов всадил из своего пистолета три пули в голову умирающего афганца и... не почувствовал себя палачом, будто чувство вины ушло из него вместе с блевотиной. Вторым оказался бородач. У него были прострелены грудь и горло. Глаза были закрыты. Грудь афганца дышала, и Борисов одной

пулей в голову заставил ее перестать дышать, только и всего.

До ущелья они брели долго и осторожно. Глушков по праву считался лучшим снайпером обеих групп — он бил без промаха в голову. Возвращаясь к мулам, Борисов увидел, что группы начали спускаться в долину.

III

Безветренная жара конца афганского лета все мощнее пекла афганцев мертвых и "афганцев" живых. У старшего лейтенанта Борисова Владимира Владимировича кружилась голова, слабость сосала душу, будто приучала ее к равнодушию. Страх, тот скачущий страх, исчез, чтобы, как знал Борисов, больше не вернуться. "Мой страх отныне будет иным". По совету Куманькова они отвязали с мулов два легких тюка, оттащили их подальше от трупов и сели на них. Подразделение старшего лейтенанта продолжало спуск, труднее всего было нести тела погибших — носильщики, часто меняясь, старались не побить их о камни.

— Хотите косяк?

Борисов махнул рукой:

— Хочу, но не возьму. Решил так. Ты не соблазняй.

— Все равно ведь, рано или поздно начнете. Здесь водка не помогает.

Куманьков пожал плечами, закурил. Протянув белый пластмассовый бидон с водой Борисову, сказал серьезно:

— Умойтесь, а то глядеть на вас страшно, воды у них еще много.

Борисов послушно умылся, послушно поправил на себе обмундирование, причесался. Куманьков посмотрел на него с одобрением:

— Ты, старшой, прости, но самого молодого, юнца, я специально тебе оставил. Во-первых, ты сам пошел, никто тебя не просил, а, во-вторых, чего грех на душу брать, когда можно другому передать. Но даже дело не в этом — одним грехом больше или меньше. Лучше начать с самого трудного, вот что я подумал. Только теперь ты получил настоящее боевое крещение, теперь, не на рассвете. Теперь ты почти "афганец".

Борисов посмотрел на него холодно:

— Я это понял и на тебя не в обиде. Все равно нужно было мне через это пройти. Да и прав твой сержант — афганцу этому молодому только легче стало от моих пуль. Но я хочу с тобой о другом поговорить. Ты человек интеллигентный и сам должен понимать, что пропаганда, будто мы империалисты, до добра довести не может. Мы можем провести двадцать удачных операций, но если при этом наверху узнают, что в моем подразделении слушают "голоса" и сравнивают эту войну с завоеванием Кавказа, Бухары и считают командующего Сороковой армией вторым Скобелевым, — ничего, кроме неприятностей, а возможно, и трибунала, мы не заработаем. Идеологический саботаж остается в армии идеологическим саботажем, перестройка или не перестройка, гласность у них там в Москве или не гласность. Так скажи мне честно, что ты обо всем этом думаешь, а если знаешь, то — что же делать?

Куманьков (анаша-гашиш уже успокаивала его кровь, замедляла движения) лениво, но выразительно

посмотрел на горы, на трупы, на все еще спускающихся по тропе живых друзей, несущих друзей мертвых, словно говоря: ну какая может быть тут идеологическая диверсия, что за глупый разговор. Взгляд старшего лейтенанта не изменился, продолжал быть требовательно-беспокойным. Страх перед политикой остался в нем после событий последних суток едва ли не самым сильным. Куманьков скривил лицо. Плохо произносил он слова, шепелявил, проглатывал последние слога так, что Борису приходилось наклоняться к нему, переспрашивать. Внешне получалось: учитель поучает незадачливого ученика.

– Зря беспокоишься, старшой. Начальство про все это знает, тем более что этой, назовем ее так, болезнью – больны и многие офицеры. И я даже думаю, что эта, как ты ее называешь, идеологическая диверсия выгодна высокому начальству. Посуди сам. Едут люди либо выполнять интернациональный долг, защищать афганцев от американцев, китайцев, пакистанцев, либо защищать наши южные рубежи, либо всё вместе. Через некоторое время некоторым, тем, кто любит думать или иначе не может жить, становится ясно, что нет и не было в Афганистане ни американцев, ни китайцев, ни пакистанцев, что никого мы не опередили своим вторжением и своей войной, что "если бы мы не вошли, то вошли бы американцы" – такая же туфта, как и все остальное. Американцы не только не собирались входить, но даже и мало помогали афганцам до последнего времени, и чтобы это понять, не обязательно американское радио слушать, достаточно послушать стариков, которые сами слушали стариков, когда были салагами (и так далее до начала войны). А если американцы не собирались входить, то и не было никакой опасности для нашей границы. Так для чего,

спрашивается, мы тут подышаем и убиваем афганцев? Чтобы Наджиб-улла-улла нашу икру жрал да пшеничную водку пил? Нет уж, за это я воевать не буду, никто не будет, если, конечно, задаст себе этот вопрос. А в нашем деле времени свободно подумать предостаточно. Так что же было делать? Откажешься выполнить приказ — поставят к стенке. Плохо будешь воевать — тебя же афганцы и кончат. Сбежать? Вон граница рядом. Пробовали. Бежали на Запад. Будто Пакистан — Запад! Бежали по разным причинам. Чего ты меня все время перебиваешь, переспрашиваешь? Хочешь, старшой, слушать, так слушай, а то мне ведь и говорить не очень охота. Ладно. Так я о чем... Одни бежали, потому что их обманули, не на ту войну послали. Другие ждали трибунала. Третьи боялись войны и предпочли ей плен в Пакистане. Четвертые хотели свободы. Пятые — разбогатеть. А скольким удалось попасть на Запад? Единицам. Остальные попали к афганцам и погибли. Так что и побежать не побежишь. Выход только один — воевать, другого нет и не дано. А раз воюешь, то и путную причину войне нужно подобрать. Вот и выдумали продолжение нашей русской империалистической политики. Что делает Со роковая армия? Продолжает расширять империю! К теплым морям рвемся — говорят о нас американцы. Чепуха это все, но правды не знаю. Ну, чего мы сюда влезли? Сторонков говорит, что знает, но предпочитает ахинею нести насчет продолжения дела русских царей. Начальство понимает, что боеспособность армии зависит во многом от удачной легенды, ну, от кое-чего еще, о чем не говорят, одной безысходности маловато, но это уже другая песня. И ты ее, старшой, скоро будешь петь. А мне, скажу я тебе, не хватает веры в Афганистан как второй Кавказ. У меня горе от ума, потому и страдаю

больше других. А ты страдать не будешь. У тебя от этой войны сплошная выгода будет, не беспокойся... Вон, наши подходят.

Первым шел с искаженным болью лицом сержант Сторонков и, подойдя к Куманькову, с трудом хлопнул его по плечу:

— Молодец, поэт. И чего тебе так не везет, ума не приложу, короткую соломинку все время вытаскиваешь. Зато живой еще. И даже не попятнали, вон как меня. Тяжелая у нас работа, ничего не скажешь... Эй, ребят положите подальше, в сторонке. Хорошо, что я достал целлофановые мешки. Доставал, о себе думал. Они даже большими оказались. Как у тебя, поэт, было стихотворение про наш саван? Саваном нам будет белый орел афганский, не гроб сосновый, для героев известных — будет гроб цинковый... что-то в этом роде. Но о мешках для удобрений, говорят, даже для мусора ты тогда не думал. Чего молчишь? Сколько косяков уже успел? Два? Три? Хватит. Это приказ. Я все понимаю, я каждый раз все понимаю, но это приказ.

Борисов сидел молча рядом, не шевелясь. К нему быстро возвращались силы, а с ними и уверенность. "Мне не в чем себя упрекнуть. Я в первом же бою делал все, что делали они, опытные. Я даже сделал больше — пошел добровольцем. Нужно, чтобы об этом узнали не от меня... от Бодрюка. А Сторонков похож, точно похож сейчас на мартышку полковника. Даже не смотрит на меня, сволочь. Он еще извинится. Вот, поворачивается ко мне. Если еще раз оскорбит, то я... что я?"

— Ну, товарищ старший лейтенант, с боевым крещением вас. Люди говорят, что с вами можно срабататься, я тоже так думаю.

Подошедший Бодрюк широко улыбнулся и сильно закивал головой:

— Это точно. Вы вели пулеметный огонь что надо, а после по своему почину спустились, вызывая огонь на себя, на разведку в долину.

Сторонков желчно улыбнулся, то ли засмеялся, то ли закашлялся:

— Ладно, ладно. Тебе, Леха, только волю дай, так ты без мыла... Чего руками разводишь, да я не против, пожалуйста.

Сторонков бросил быстрый выразительный взгляд на старшего лейтенанта и, как бы продолжая разговор, сказал скороговоркой:

— Леха, ты распорядись, пусть начнут работу, я громко говорить не могу, в рану отдает. Так что давай, а я тут с лейтенантом останусь.

Бодрюк поколебался, ему явно не хотелось принимать командование над обеими группами, он бы предпочел, чтобы последнюю операцию, вероятно, по сбору трофеев, провел Сторонков. Борисову это показалось странным, но за последние сутки столько необычного произошло, что он отказался думать о возможной причине безынициативности инициативного Бодрюка, принявшего хмуро решение и заоравшего:

— Все ко мне! Все устали, знаю, всем трудно, знаю, но надо сделать последнюю работу. Может, ничего и не найдем, но — надо. Не для себя только пашем. Думаю, афганцы не успели нам гостинцев оставить, но нужно быть все равно начеку.

Ворча и матерясь, солдаты начали оттаскивать тюки подальше, потрошить их. Все афганские трупы были обысканы и найденное на них сложено на расстеленной на земле тряпице. Раздался крик:

— Есть! Касса есть!

Борисов видел: металлический ларец был осторожно вскрыт и его содержимое вытряхнуто на тряпку. Толь-

ко после этой работы повеселевшие солдаты начали оттаскивать в кучу трофейное оружие, боеприпасы. Бумаги, найденные на афганском командире, Бодрюк отдал Борису, тупо наблюдавшему за происходящим. Затем мешки с продовольствием, ящики с медикаментами, тюки с одеждой, еще какие-то коробки были брошены в кучу, чем-то политы, похоже маслом, чем-то посыпаны, похоже порохом... раздался выстрел из ракетницы и запылал костер, воюя и треща, выдыхая черный дым. И только глядя на огонь, неестественный в этой невыносимой жаре, Борисов понял, что произошло. Он повернул голову к сидящему рядом с ним на тюке Сторонкову и встретил внимательный, настороженно-холодный взгляд сержанта. Вот откуда у них американские ботинки, американские соки, таблетки, "пакистанки", "драгуновки", "бесшумки", транзистор, водка. Они — мародеры! В Союзе за пять помидор с колхозного поля солдата могут под трибунал отдать, в любом случае десяти суток губы ему не миновать, а они тут трупы обворовывают, кольца с рук сдирают...

Лицо старшего лейтенанта исказилось, задрожавшая рука потянулась вдруг к кобуре... Сторонков спокойно ткнул своей "бесшумкой" старшего лейтенанта в плечо:

— Подожди. Поговорим. Ты же живой. Ну и поговорим. Леха! Иди сюда! И Бодрюк с тобой поговорит. Или покивает головой. Спокойно, спокойно. Убери руку! Ну?! Вот дурень.

Борисов не узнал своего голоса, и никогда еще в жизни не чувствовал себя таким благородным:

— Ты у меня, сука, еще поплатишься. Под трибунал пойдешь, а после него тебя, гада, к стенке поставят. Я о чем-то догадывался, не зря ты о деньгах, о том, что

все можно купить, лепетал. Меня не купишь! Мразь ты, армию позоришь, страну позоришь!

Он крикнул подходящему Бодрюку:

— Ну, а ты что скажешь, говно хохляцкое?!

Не задумываясь, Бодрюк ответил:

— Сам ты говно кацапское. Ишь ты, звездочки у него, подумаешь. Я с ним по-хорошему, а он?

— Мародер! Трупы обираешь? Вместе с дружкой под трибунал пойдешь!

Бодрюк мгновенно успокоился, протянул:

— А-а-а-а, вот оно что. А ты, Слав, чего ему не объяснил, не пояснил?

— А сам ты не можешь? У меня плечо болит.

— У тебя лучше получается.

Лежащий рядом с тюками Пименов грустно сказал:

— Будет вам лаяться, ребята. Мы же сегодня троих потеряли. Зачем же так?

Бодрюк наклонился к нему:

— Володь, нужно тебе чего? Соку хочешь? Больно тебе? Еще тебе иглу дать?

— Не больно мне. Сок дай. И помолчи. Пусть Славка лейтенанту скажет. А то надоело. Кричите, кричите.

Печальный Пименов закрыл глаза. Борисов, все еще задыхающийся от бешенства, не нашел ничего другого, как кивнуть головой. Бодрюк сел на землю и приготовился слушать. Подошли остальные — они гримасами и вопросительными взглядами пытались узнать, в чем дело. Маленький, сухой, нервный Сторонков выглядел странно-внушительно. Он усмехнулся:

— Мы, значит, мародеры, позор армии, позор страны? Разберемся. Нас посылают в горы с АК на глупую смерть. Это чей позор? Нам не дают нужного обмундирования, достаточного количества витаминов,

нужной боевой техники — и этим обрекают на смерть. Это чей позор? Наш или армии, страны? Погибают наши товарищи по оружию, да, выпендренно изъясняюсь, высокопарно, но разве они не наши товарищи по оружию? Погибают они, часто кормильцы матерей, их опора. И что же? Матерям нашим запрещали годами говорить, где и как мы погибли, и выдавали копейки за нашу смерть. Теперь разрешили говорить — под занавес, но продолжают выдавать за сына жалкие гроши. Это чей позор? Не армии? Не страны? А наши раненые? Подымают дома без ухода, без денег, без жилплощади, без уважения. Нам теперь говорят: вы герои, вам квартира вне очереди, поступление в институт вне конкурса, отпуска вам будут летом. И — х...! Забыть о нас хотят, об этой войне. Газеты нас теперь прославляют, а на деле мы все равно есть и будем отверженные. Так что же, нужно нам было спокойно подышать тут или после дембеля дома? Нет! Старики нашего полка несколько лет назад создали Братство. Правильно они сделали или нет?

Люди вокруг Сторонкова рывкнули:

— Правильно!

— Конечно, правильно. Если правительство о нас не заботится, то мы сами должны о себе позаботиться, о наших друзьях, о матерях погибших, о раненых. Правильно?

— Правильно!

— Деньги на кооперативные квартиры, на дома, на пенсии нашим матерям — потому что матери наших погибших товарищей — наши матери, разве не так?

— Правильно!

— ...Нашим раненым, нашим инвалидам, нашим подымающим от ран на родине, нам самим, наконец. Мы что же, должны вернуться голыми, а дома наши награ-

ды за бутылку отдавать? Мы имеем право после войны жить по-человечески. Правильно я говорю?

— Правильно!

Борисов отметил, что Бодрюк рывкает "правильно" с тем же фанатизмом, с той же восторженностью, что и другие. Борисов боролся с собой, но вынужден был признать, что слова Сторонкова смущают его.

Сержант Сторонков выдержал в полной тишине паузу:

— У нашего Братства справедливые законы. Мы не суки из нашей армии, торгующие оружием, из которого после по нам же стреляют афганцы. Мы не торгуем, как некоторые, планом, опиумом, героином, отравляющим людей, — мы сами, вернувшись домой, будем пить только водку. Правильно?

— Правильно!

— Мы не тыловые вши, продающие матрасы, на которых мы должны спать, мясо, которое мы должны есть, горючее, без которого мы гибнем. Мы берем только у врага и только у врага брать и будем. Таковы законы Братства. Не мы их выдумали, но мы с ними согласны. Правильно я говорю?

— Правильно!

— Так и не в чем нас обвинять. А кто это делает — тоже враг. Только вот что я должен еще сказать: наш командир только прибыл, всего несколько дней вообще в Афганистане, все ему ново, непонятно. И я честно скажу свое мнение: он хороший парень. Я за ним понаблюдал. Он глупо поступил: пошел с Артуром, подставил голову под пулю, хотя его об этом никто не просил. Мы посмеялись над ним, но, вспомните, смеялись мы над ним добродушно. А часто мы смеемся над офицерами добродушно? То-то. Много среди офицеров хороших ребят, но что делать, такая уж сволочная

у них профессия... В общем, лейтенант показал себя покамест только с хорошей стороны, за исключением вот этого компота недавнего, но мы ему все пояснили, и я уверен, что в самом скором будущем мы все станем его друзьями. Алексей, что скажешь?

Бодрюк улыбнулся широким ртом, повел широкими плечами:

— Что скажу? Скажу, что ты правильно говорил, без нашего Братства нам никак нельзя. Но я уверен, товарищ старший лейтенант понимает, что Братство нам не мешает выполнять наш интернациональный долг и быть политически грамотными. Пусть он знает, что мы его не подведем. Правильно я говорю?

Группа Сторонкова промолчала, группа Бодрюка дружно ответила Бодрюку, как раньше отвечала Сторонкову:

— Правильно!

И все взгляды устремились на уныло опущенную голову сидящего на тюке старшего лейтенанта Борисова, мысли которого старались поладить с чувствами и найти наиболее удобный выход из положения. "Я не ощущаю к ним никакой злобы. Зря я вспылил. Они по-своему правы, правительство действительно мало что делает для армии, а для солдат, воюющих в этом аду, и подавно. Мародерство, как ни верти, конечно, гадость и мерзость, но этих людей просто поставили в тупик. Да и идти против целого коллектива в таком деле — настоящее самоубийство. В конце концов главное — что они воюют и воюют хорошо, даже отлично, а все остальное... Это и вдальблывал мне в башку полковник".

Борисов поднял голову:

— Вот что, ребята: погорячился я, вы уж простите. Многое для меня здесь пока непонятно. Но я хороший

ученик, а вы – учителя. Все будет в порядке, главное – чтоб комар носа... Договорились?

Радостный гул был ему ответом. Отец Анатолий заявил:

– Я благословляю тебя, командир. Ты верующий?

– Нет.

– Все равно благословляю. А теперь приглашаю всех желающих, верующих, неверующих, агностиков, даже атеистов пойти к ребятам и вместе со мной помолиться о них, выслушать мою молитву.

Около старшего лейтенанта остались Сторонков и Бодрюк. Борисов сразу спросил:

– Хорошо, а как вы... приобретенное прячете? И как перебрасываете в Союз, ведь в Термезе шмонают, говорят, зверски? Если поднакроют, нам всем не избежать трибунала...

Бодрюк зычно загоготал:

– Знаем! Жадность фраера губит. Либо он посредникам слишком мало дает, либо не обеспечивает достаточно эту, как ее, Слава? Да, круговую поруку. На нас работают разные люди, есть и полковники. Получают они много, иногда до двадцати процентов, хотя риск и пяти не стоит. Наши ребята, дембеля в Союзе приходят к нашим посредникам в гости, на каждого у нас заведено дело – не хуже, чем в разведке. За предательство, обман – смерть. Если случайно возьмут, посредник нас не выдаст, он свою выгоду знает: семья бедствовать не будет. Каждого из нас ждет неплохая куча денег, отдельно идут пенсии матерям погибших, раненым, инвалидам из нашего Братства. Мы своих в беде не оставляем, многим уже куплены кооперативные квартиры, кто в селе – дома. Мы иногда камушков да золота можем за раз набрать на сотни тысяч. На нас всякая сволочь здесь и в Союзе

наживается, жиреет, но тут ничего не поделаешь. Хочешь, лейтенант, можешь и ты вступить в Братство на равных правах. От всей души предлагаем...

– Спасибо, ребята, но я подожду. Видно будет. Мне еще нужно пообвыкнуться, пообтесаться. А теперь пойдём послушаем отца Анатолия. Надо же помянуть ребят. Ну и жара здесь, братцы, я вам доложу... неужели все лето так?

– Чем ближе к Пакистану, тем душнее. А в Афганистане ветерок дует, нам просто нынче не повезло. Пошли.

Долговязый отец Анатолий говорил, показывая всем свой большой нательный крест:

– ...Эту мою молитву, которую вы только что слушали, слушал и Бог. Он нас жалеет. Пожалееет он и наших ребят, лежащих вот здесь в мешках. Он знает, не по нашей воле воюем, убиваем людей и погибаем, знает, будь наша воля, – сидели бы мы дома, пили б пиво в предбаннике. Поэтому Он и обеспечил ребятам чистую бессмертную душу, а, следовательно, и рай. Грехи наши – подневольные, но это не значит, что мы должны о них забывать или списывать их полностью, или не замечать – они все же наши и принадлежат нам. О них надо думать, нужно их чувствовать совестью и душой, но не слишком, иначе потеряем лишний шанс вернуться домой. Ребята погибли в бою не по своей ошибке, вели себя правильно, кроме Пименова... разбросался, вот и ранили. Я к тому говорю, что никому из нас совесть и душа не должны мешать открыть огонь, когда этого требует обстановка. Главное, самое главное, сделать так, чтобы сохранить наибольшие шансы дотянуть целыми до дембеля. Господь знает, что мы в полном окружении – впереди афганцы, позади трибунал. Аминь. Может, лейтенанту

хочется что-нибудь сказать, ведь он впервые прощается вместе с нами с нашими товарищами?

Сторонков сказал:

— Прости, лейтенант. Отец Анатолий, разреши людям надеть головной убор. Тангры, походи к Коле, скучает небось. Прости, лейтенант, что перебил, но, сам знаешь, солнце тут, как и все, впрочем, остальное — не прощает.

Борисов ответил с искренним волнением:

— Да, конечно. Но, ребята, мне сказать нечего, кроме того, что мы друзья. Только я офицер и член партии... и неверующий. Так уж... Так что, в общем...

Богров воскликнул:

— Да что ты, лейтенант, верующих среди нас почти нету. Просто с отцом Анатолием и с его Богом как-то легче, только и всего. Так что не страдай. Все в порядке.

Борис Тангрыкулиев из Кара-Богаз-Гола отстранил друга рукой:

— Ты убитый, за себя говори. Убитым себя объявил, а говорит, что Бога нет. Есть Бог, есть Аллах, а ты, Колька, сам от себя бежишь. Пусть отец Анатолий скажет. Я сам слышал, как Богров молился, когда нас три дня обстреливали эрэсами, там Пашка Воронцов и Сашка Волковинский остались. Бог есть, это так же верно, как то, что у БТРа два движка или что Пименова ранили из "Энфильда".

Бодрюк вдруг посуровел:

— Сержант Сторонков, я тебя прошу в присутствии моих людей не разрешать своим вести религиозную пропаганду. Понял?

Сторонков взвился:

— Сержант Бодрюк, иди знаешь куда?

— Что?!

— А то. Не учи — ученый.

Отец Анатолий закричал:

— Хватит, ребята, только что наших отпевали, ссора не к лицу. Давайте лучше покурим и споем что-нибудь нашенское. Давай "Пусть кругом", заводи.

Слушая, Борисов поймал себя на том, что расслабленно улыбается. За два дня как двадцать лет прожил.

Пусть вокруг одно глумленье,
Клевета и гнет.
Нас, корниловцев, презренье
Черни не убьет.

Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.

Загремит колоколами
Древняя Москва,
И войдут в неё рядами
Русские войска.

Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.

Русь поймет, кто ей изменник,
В чем ее недуг.
И что в Быхове не пленник,
Был, а верный друг.

Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.

За Россию и свободу,
Если в бой зовут,

То корниловцы и в воду,
И в огонь пойдут.

Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.

”Песня как будто из тьмы веков, а — живая, нет в ней штампа. Корнилов, Корнилов? Диктатором, что ли, хотел стать? Надо почитать о нем что-нибудь”. Мысли Борисова прыгали. Знал ведь, знал полковник, к кому посылал, все знал, сука хитрая. Ну, я на него не в обиде. Все ведь пока обошлось.

Борисов широко улыбнулся:

— А теперь всем отдыхать. Скоро вертолеты.

IV

Старший лейтенант Борисов, вернувшись на базу, лег на раскладушку вечером, а открыв сонные глаза, вновь увидел за окном вечер. Выходящий из палатки офицер обернулся:

— Проснулся? Сутки дрыхнешь. Приказали не будить. Старик доволен, после первого же дела — тебя к награде. Хочет под занавес еще одного героя родине преподнести. Так что поздравляю.

Борисов помотал головой, отгоняя остатки сна, прогоняя наваждение: вразумляющий голос мамы — вместо школы он день провел на катке...

Офицер, смеясь, звал на ужин.

— Постой, постой, — задерживал его Борисов. — Я больше суток спал, правда? И какая награда? Что ты мелешь? И где мои люди? Что они сутки делали? Как же это все так? Постой, дай прийти в себя. И мы, кажется, прежде не виделись?

— Капитан Кузнецов. Когда ты прибыл, лейтенант, я на работе был под Кандагаром, потому и не встретился. Мне еще три месяца осталось до академии. Потом афганский дембель, после отпуск... только дожить надо. А люди твои тоже дрыхли. Какая награда, не знаю. Но Осокин нужных слов не пожалел: мол, прибыл и сразу в бой, в перерыве между боями вел политическую работу, под пулями разъяснял личному составу трудное международное положение, показывал пример мужества, ну, и все такое. Тем более Осокину это было легко, что твои сержанты тоже хороших слов в твой адрес не пожалели, а это, прямо скажем, бывает редко. Осокину-то месяц остался, у него генеральские звезды уже давно припасены. Мы все под его командованием проявляем чудеса храбрости, находчивости, а когда нужно — подымаем героями. Мы не только, да и не столько на себя работаем, как на него. Вокруг дела худо идут, авиация летит высоко, артиллерия палит куда попало, мотопехота все противника в мешок залавливает, поймать не может, мешки-то все пустыми оказываются. Только мы, саперы да спецназ, чего-то сегодня стоим... так что быть Осокину генералом и генералом живым, чего и вам желаю. Идем ужинать, полковник приказал возиться с тобой, как с именинником.

Борисов радостно кивнул головой. Как быстро все пошло. Не ожидал такой удачи. Несколько дней — и уже к награде. Но... неужели всего несколько дней прошло... даже меньше, чем несколько. Не может быть.

Мне кажется, я здесь уже вечность. Но как мне все-таки повезло, обнять этого типа, что ли?

— Да, да, пошли ужинать, надо отметить. Хотя нет, подожди, я должен прежде навестить ребят, у меня раненные есть, подумают еще, что я о них забыл...

Капитан Кузнецов рассмеялся:

— Они об этом только и мечтают, чтоб ты о них забыл. А своих "попятнанных" после ужина навестишь, никуда они не денутся, у них сестрички там хорошие, знаю, я сам три раза у полковника Штрехера валялся... идем, идем. Ты не поверишь. Меня месяцев пять назад осколком нашей же мины задело, бок сильно поцарапало (но двоих я на этой mine проклятой потерял). Так вот, лежу я, гляжу, медсестра новая, милая, узнаю — Боровицкая ее фамилия. Еще познакомишься с ней. Я, значит, подкатился к ней, к Наташе, ее так зовут, подарки, все такое, а она ни в какую, хоть убей. Главное, ведь вижу, что не ломается. Ну, отстал. А на следующий день, вернее, в следующую же ночь застучал я ее на складе с солдатиком, лежала с ним на топчане среди медицинских коробок. Да еще с салагой, ему осколком случайно здесь же на базе во время обстрела оторвало ухо и кусок щеки, ну и остальную харю чуть перебороздило... Направо надо, лейтенант, забыл дорогу в столовку, что ли? Да, прогнал я салагу и говорю ей, что же ты, мол, делаешь, я к тебе всем сердцем, а ты... Она увидела, что я по-настоящему разозлился, и тогда только всё рассказала. Оказывается, их сестричек-подружек штук восемь поехали сюда, и перед тем, как их поразбросали по гарнизонам и госпиталям, они успели договориться и дать клятву, что отдаваться будут только несчастным солдатикам и только получившим ранения, но ни в коем случае не офицерам. Мол, офицеры на войне работают по своей профессии, а,

главное, что офицеры и так могут себе легко женщину найти, деньги у них есть, свобода передвижения и красивый мундир. Ну, лейтенант, что в таком случае делать? Это же, как в засаду попал. Что скажешь?

Борисов улыбнулся:

— А что? Красиво. Я — за, солдатам тоже нужно пожить.

Капитан ехидно свистнул:

— Э, да ты с хитрецей, лейтенант. Или добродушнее валенка. Не верю я в эту красоту, где-то тут собака зарыта. Откуда это у нас могут взяться такие чистые девушки, у которых чувство самопожертвования доведено до такого, понимаешь ли, уровня? Не верю! Кстати, о птичках, я могу тебе помочь найти, так сказать, женщину сердца...

Борисов отвечал нарочито рассеянно:

— Спасибо, потом, посмотрим, мне пока так жрать охота, что не до баб.

Борисова действительно грыз голод и желание выпить залпом стакан холодной водки, а после выслушать хороший анекдот да расхохотаться в кругу сослуживцев. Но рассказ капитана прошелся по нему раскаленной волной, резко напомнившей, что для мужчины настоящим доказательством полноты жизни может быть только женщина...

— Сегодня у нас борщ, битки и компот. А для Владимира Владимировича к десерту сюрприз есть.

Официантка Лида мягко положила полную руку на плечо Борисова:

— Надо же отметить ваше первое возвращение. У нас такой обычай. Правильно я говорю, товарищи?

Сидевший за соседним столом майор-летчик подсел к Борисову с початой бутылкой водки:

— Есть, Лидочка, есть. Отметим. И за меня выпьем

— мне сегодня в хвостовую балку попали, как дотянул до своих, ума не приложу... Из ДШК вкатили мне очередь. А ведь теперь летаешь и мечтаешь: пусть они из двух ДШК палят, пусть даже "Стрелой" попробуют влечь, лишь бы не "Стингером". А вот дал дух очередь — и в балку. На прошлой неделе Колю Салькова сожгли вместе с вашими. Он их подобрал, только чуть поднял, а тут духи выходят из-за камней, ждали, значит, психи, — и вкатили ракетой почти в упор. А ведь знали, не могли не знать, что и себя на гибель обрекают... Хотя кажется иногда, им — что убьют, что нет — всё одно. Так что выпьем за тебя, лейтенант, за меня живого и за Колю мертвого. Мы с ним еще в училище были по корешам...

Сапер майор Платонов сидел хмуро, тянул из пивной кружки уже не французский коньяк, а какое-то "плодовыгодное", морщился, сплевывал. С Борисовым он поздоровался приветливо, но и без особой радости. Он иногда кивал лейтенанту, словно повторял: живой, это хорошо, но тебе еще много, очень много раз нужно будет вернуться живым. Слова вертолетчика его явно раздражали, но он терпел, только кружкой своей все сильнее стучал после каждого глотка о стол.

Вертолетчик продолжал, допив залпом водку:

— Горим в небе, как свечи, слышишь, молодой? Мы — настоящие камикадзе. Смертники конца двадцатого. Где обещанная новая техника? Нет ее, а если есть, то ржавеет в Германии. А мы здесь должны погибать за просто так. Я против американской техники, как ты с палкой против автомата, понял? Эти суки на земле со мной все, что хотят, делают. Мы прямо спросили у папаши, генерала нашего, когда эта херня кончится. Он ответил, что наша промышленность вот-вот выпустит нечто такое, что можно будет спокойно в лоб на

”Стингера” пойти. Больше года уже прошло, а мы все горим и горим... да что мы, МиГи горят... Ну и хрен с ним, гореть так гореть, правильно я говорю?

Лицо майора Платонова сильно скривилось, он громыхнул кружкой о стол так, что все вздрогнули, как от неожиданного взрыва. В голосе майора было много язвительности:

— Что ты все хнычешь, ”горим, горим”?! Герой нашелся!

Вертолетчик растерялся:

— Чего ты, да я...

— Заткнись. Вы восемь лет летали себе свободно, одни были в этом небе, у противника не было ни авиации, ни зениток, ни ракет... Афганец из ДШК твою броню пытался, беденький, пробить, а ты его спокойненько расстреливал в упор. Будто я не видел, как вы с кишлаками воевали — под тобой дом за домом взлетает, а в тебя, в твою броню старик из берданки палит. Герой! А теперь американцы подкинули им десяток ракет, ты стал наконец воевать, как другие. Так нет, чтобы принять войну во всей, даже не во всей, ее красе... Нет, хныкать начинает, Гастелло из себя строит.

Вертолетчик бросился на Платонова:

— Сволочь!

Борисов перехватил его, скрутил, чувствуя радостно, что голыми руками может этого летчика сломать, подвел обратно, усадил на место:

— Простите, майор, но нельзя же нам, офицерам, прямо в столовой драки затевать, солдаты ведь увидят.

Капитан Кузнецов закричал:

— Чего там, нечего нам гавкаться! У каждого своя работа. Выпьем лучше, выпьем поскорей, выпьем за то, чтоб не было больше по России тюрем, не было по

России лагерей. Давайте послушаем лучше Высоцкого, сразу на сердце легче станет. А то все о войне, а она вон — рядом, она с нами, так и нечего о ней говорить.

Платонов бросил на капитана мрачный взгляд:

— Чего это ты такой добрый? Нам с самого начала войны мины устанавливают на неизвлекаемость... Послать бы его на управляемое минное поле. Я только на этой неделе у Саланга троих ребят потерял, а сколько за год — считать не хочется. А ты, десантник, сколько своих оставил, сколько дырявых тельняшек сложил на память в чемодан? Между прочим, мы вьетнамцам помогали не так, как америкашки духам — они от наших ракетных комплексов сколько машин за войну потеряли? Ну, сколько? Не знаешь, так я скажу: больше пяти тысяч машин! Вот это была война! Так что глохни, майор, а лучше — помолись за души вчерашних семерых.

...У борща странный вкус. Афганский. Овощи ведь не наши. Все равно хорошо, что — борщ. Борисов наслаждался, ел медленно, облизывая, как в детстве, ложку. Умиротворение от еды, водки, собственной силы, от того, что он — живой и представлен к награде, вселялось в него, создавало в душе уют. Говорить не хотелось, но он все же спросил:

— Каких семерых?

Капитан Кузнецов глухо ответил:

— Вчера было прямое попадание китайской болванки в одну из палаток Саркяна. Семерых наповал... А вот и Саркян.

Командир десантного батальона капитан Саркян пожал всем руки:

— Вернулся, лейтенант. Слышал, наслышан. Повезло тебе. А моим — нет. Судьба это, я понимаю, но чтобы вот так, во сне... Лучше б в бою. Двоим неделя до

дембеля оставалась, хорошие были ребята, я уж решил их оставить до дембеля тут, подальше от греха, чтобы напоследок не убили. И — вот. Судьба, ничего не скажешь, не добавишь. У меня три бутылки "Южного крепкого", из Ташкента привезли, по блату достали. Отрава первый сорт, такую больше не выпускают. Напоминает "Солнцедар" моей юности. Про него говорили, что французы им красят заборы, а американцы используют во Вьетнаме вместо напалма. А про "Южное крепкое" говорят, что его закупили южноафриканцы. Для чего оно им? Чтобы крыши красить и негров травить. Но одну бутылку "Южного" я припас для Андропова, его сегодня, несмотря на фамилию, ранили, прострелили легкое. Я ему ее в госпиталь отнесу. Вот как будто и все. Новости есть? Нетути? Тогда я вам скажу: будем скоро выкатываться из Афганистана, в Женеве подписывать на днях бумагу будут. И это — точно. Я свое почти отбарабанил тут, так что молодым надо спешить. Разливайте.

Капитан Кузнецов усмехнулся:

— Так мы и выкатимся, держи карман шире. Увидишь, эта волынка будет тянуться еще лет двадцать со всеми перестройками и гласностями. А подписывать в Женеве или в Вашингтоне — уже привыкли. Мы привыкли, американцы привыкли. Все равно ведь мы эту страну прожужим и выплюнем уже нашей, другого еще никогда не было. Ну, чего это я опять о ней, о войне. Надоело!

Захмелевшему Борису понравились слова капитана:

— Вот это правильно, вот это разговор! Давайте лучше о бабах!

Все расхохотались. Официантка Лида принесла поднос с порциями ванильного мороженого:

— А вот и сюрприз. Не ждали? Нет, нет, тайны не выдам. Надо верить в чудо, так говорила моя бабушка... Прямо из Кабула вам на стол. Да не кричите, не кричите так. С боевым крещением вас, Владимир Владимирович... Ну вот, все опять вылакали, теперь спиртного неделю не увидите. Михаил Сергеевич объявил полусухой закон, а вы себя совсем на сухой обрекаете. Что, опять гадость всякую курить будете? Ешьте, ешьте, растает ведь.

Платонов махнул рукой, вылил в себя "Южного крепкого", передернулся:

— А чего, Лидочка, такую гадость копить? И где мы завтра будем?

— Здесь будешь, здесь. Тебя никакая мина уже не возьмет.

Платонов покачал головой:

— Спасибо тебе на добром слове, но лучше об этом не говорить. Знаешь, Лида, одни люди спасаются от несчастья тем, что все время о нем говорят, другие — тем, что молчат о нем, будто нет его в природе, а я сам не знаю, то говорю, то молчу. Устал я — или вино такое... К жене охота, к детям. Пойду-ка лучше спать, выпить больше нечего. Спасибо, Лидочка. Господа офицеры, желаю всем здравствовать. Пью последнюю каплю за царя и отечество.

Борисову на прощанье жали руку, хлопали по плечам, спине, а ему не хотелось уходить из столовой. Ему в первое мгновенье было весело, в следующее — грустно, в третье тоскливо, в четвертое бесшабашно. Он знал, что изменился после первого боя, что за несколько часов юность ушла безвозвратно, как и привычные представления об армии. Старый его мир ушел. Новый здесь, вокруг, в нем... Даже его отношение к войне изменилось. Конечно, он хочет победы, верит в

нее, в себя, в свое будущее. Но он чувствовал, что нет в нем больше той заочной любви к войне и воли к победе, это чувство ушло... пришло... что? Можно ли уважать войну? Да, работа тяжелая. А, все равно, живем же и будем жить! И все-таки жаль мне, Борисов, потерять того Борисова. Может, седина уже на висках появилась? И к себе уже отношение будет, есть — другое, не может быть иначе на грязной войне... вот, и ты уже произнес "грязная война", не хватало еще о совести вспомнить. Ерунда, все я делал правильно, и Осокин это понял. Так что вперед! На мой век войны хватит... А любовь к Светке ушла, сгорела. Нельзя, нельзя так смотреть на официантку. Она же мне в матери годится. Не вежливо. Убирает посуду, ну и пусть убирает. Жаль все-таки, что выпить больше нечего.

Но он не мог унять свой жадный взгляд, упорно преследовавший официантку. Она была некрасивой, слишком полной, под одеждой угадывалось тело, уже начинающее дряблеть, шея была морщинистой, почти старой. И все же Борисов не мог оторвать от женщины взгляда, не мог не желать ее обнять, положить голову ей на грудь, или... наброситься грубо, толкнуть ее неистово на кровать. Ее движения, когда она убирала посуду, вызывали в нем нежность, когда подметала — страсть, животней которой он за всю свою жизнь не ощущал, даже в пьяном полубреду, отмечая закончившиеся двухмесячные учения. "Но не могу же я ей сказать, давай, тетка, пошли". Он сидел оцепенело, держал судорожно пустой стакан, ждал чего-то, скорее всего приказа самому себе встать и уйти. "Мне еще нужно в госпиталь к ребятам". Официантка подошла, взяла из его руки стакан, заглянула в глаза:

— Трудно было? Всегда трудно первый раз. Знал бы

ты, мальчик, сколько я твоего брата перевидала, со мной бы вместе заплакал. Вот что, мне тут еще прибраться надо, а ты иди, погуляй, а через часика два приходи, наша палатка тут за столовой, стукни в последнее от входа окошко. А теперь иди.

Спазма благодарности сжала горло Борисова. Слова официантки, бывшие еще минуту назад мечтой, сразу стали частью быта, чем-то само собой разумеющимся. Ему показалось, он бы обиделся, если б эта женщина не пригласила его к себе на ночь. Он спросил голосом, в котором не оказалось волнения:

— Как к госпиталю дойти? У меня ребята там.

— Далековато. Выйдешь, пойдешь прямо по дорожке, перейдешь плац, оставишь справа мастерские и через метров сто увидишь палатки лазарета. Тебе нужна самая длинная, она рядом с двумя палатками операционно-перевязочного блока. Найдешь?

— Найду. Ну, до скорого.

В ночном воздухе была прохлада. Уже осень, днем лето, а ночью осень. И луна здесь светит сильнее, чем дома, и звезды здесь крупнее... Борисов с детства знал, что будет офицером, еще до училища чувствовал себя им, но только теперь, шагая к госпиталю, ощутил в теле какую-то особую пружинистость военного человека. Да, теперь я "афганец". Он посмотрел в сторону гор, откуда могли на него свалиться смерть или увечье, и усмехнулся равнодушно. Он знал, есть связь между этим новым своим ощущением и тем афганцем, которого добил, тем парнишкой, но он также знал, что без предложения женщины, без ночи, которую он проведет с ней, круг бы не замкнулся. Гибели афганца, боя — было бы недостаточно, последним броском оказалось неистово-животное желание обладать женщиной. Его судороги на земле той долины

были только началом метаморфозы. Ну и пусть. Все — правильно. Больше ума, меньше чувств, вот и вся тайна.

Ночная база спала, кричала, ссорилась, пела. Борисов услышал, проходя мимо палаток саперной роты:

Что такое — зеленая зона?
Это просто — кусочек озона.
Прогуляться туда не хотите?
Нет уж, нет уж, друзья, извините.
Там листочки, кусточки жасмина.
А под каждым — контактная мина.
Мужики там живут бородатые
И гуляют они с автоматами.

Голоса были веселыми, игристыми, с легкой похаб-цой — так поет в деревнях под гармошку поддатая молодежь. Борисов улыбнулся. Есть во всем этом эдакое где наша не пропадала...

Плац, проклятие солдата, гулко резонировал под ногами Борисова, напомнив ему училище, мысль о самоубийстве: после посудомойки его, уже валившегося с ног, погнажи на плац. До глубокой ночи курсант бил сапогами по твердому грунту, и каждый удар проникал острой болью в ноги, добирался до мозга и, казалось, рикошетил о черепную коробку. Боль сопровождал голод — малокалорийную пищу тело обрабатывало без остатка за пару часов и вновь начинало желудочными спазмами требовать и требовать... К боли и голоду прилепилось вечное недосыпание. И когда мысль о смерти пришла, как добрая ласка, она ошеломила курсанта своей странностью: смерть показалась его телу теплой и уютной, хотя мысль утверждала, что она холодная и жесткая. Он тогда покачивался в нереш-

тельности, пока ему не разрешили пойти поспать положенные минимумом четыре часа. За что мне тогда дали два наряда вне очереди? Разве вспомнишь. Я был слишком сильным для того, чтоб безропотно сунуть голову в хомут дисциплины, все брыкался... Желать смерть... только безумец может к ней стремиться. Но по-настоящему я это только теперь понял. Романтика — говно вонючее. Любая романтика...

После плаца шли новые ряды палаток. Возле одной Борисов остановился и прислушался. Говоривший растягивал слова, тянул, будто ему было жаль с ними расстаться:

— Пока меня нет и пока я сам не лег спать — тебе тоже спать нельзя. Ты — салага и должен это понять. Что получается: я стою, а ты лежишь? Такого быть не должно...

Почему он говорит, этот старик, так медленно... Ну да, наштабанился, еле языком ворочает...

Проходящий патруль посветил фонариком в лицо Борисову и прошел молча, не вызвав у старшего лейтенанта мысли, что патрульные нарушают устав.

В огромной палатке койки стояли тесными рядами. Кто-то кричал от боли, кто-то во сне звал мать, храп то рокотал, то тонко вибрировал в ушах. На всем лежала печать грязи и запустения. От острого запаха нечистот Борисова слегка затошнило. Он почувствовал раздражение. Ну, в Союзе я еще понимаю, ну, поболел солдат да и вернулся в часть — или повезло и комиссовали. Все ведь воруют, кто больше, кто меньше. На то и мирная жизнь — одному хочется мотоцикл купить, второму дом, третий на пенсию или отпуск копит. Кто не ворует, тот не ест. Но здесь же война — и все равно воруют. Прав Сторонков, суки они, я бы тех, кто на войне у раненых ворует простыни, медика-

менты, палатки, — стрелял бы на месте. Скажу об этом Осокину, в этом госпитале и здоровый человек может загнуться. И палатка в дырах, и раненые ходят под себя... Найти бы виновных!.. Спокойно, — одернул себя Борисов, — ты всего-навсего старший лейтенант и знаешь, что никому никогда не удавалось победить канцелярию. Так не лезь. Ты пришел проведать ребят — ну и ищи их, а не строй из себя праведника...

В одном из углов палатки-госпиталя Борисов нашел Володю Пименова. Парень лежал с плотно закрытыми глазами в чистейших простынях. Койка его была скрыта толстой ширмой. Борисов подумал, что Пименов умирает.

Но Пименов вдруг открыл глаза и подмигнул ему:

— Товарищ старший лейтенант, рад, что навестили вы нас. Присаживайтесь. Живой я, живой. Ширма так, для удобства. Хотите выпить-закусить? И это у нас есть.

— Нет, спасибо, я и так только протрезвел слегка.

Черт, чего это я так рад его видеть? И говорю с ним, будто он офицер.

— Чего ты, Пименов, тут делаешь? Я думал, тебя давно в Кабул отправили?

Пименов вновь подмигнул ему:

— Объявили меня нетранспортабельным. А что, мне здесь лучше, чем в столице. Лучше в подвале с блатом, чем на первом этаже по разнарядке. Здесь все только больные или несчастнослучайники, мы с сержантом единственные раненые, только вот, во втором ряду, шесть наджибовцев подышают, но они не в счет. Может, винограду хотите? И это есть, виноград с палец, никогда такого не видел и не увижу.

— Нет, спасибо. За ширмой, значит, прячешься. Ладно, что у тебя выпить есть? Самогонка? Откуда?

Впрочем, не мое дело. Ну, плесни. Ты раненый, а я друг, пришедший тебя навестить... Будь!

— Обязательно буду.

— Вы, значит — крепкая штука, градусов пятьдесят, не меньше — и здесь умудрились устроиться? Молодцы! А медсестра добрая у тебя здесь есть?

Пименов гордо приподнял голову:

— А как же... Тангры мне для нее серьги достал. Люба скоро придет. Она невеста Пашки Кондратьева, ему месяца четыре назад афганцы три пальца отсекали. Письмо от него получили. Он из-под Пензы, из Башмакова, слышали? Мы ему дом на окраине купили, он теперь его мебелью украшает. Инвалидность ему дали, что ни есть чепуховую, а тут дом, кто-то телегу накатал. Ну, начали интересоваться... пришлось "афганскую" делегацию послать, дать властям понять, что нечего искать у Пашки вшей, что у него все в порядке... Люба скоро к нему поедет, они поженятся, ну, а пока со мной, не пропадать же жизни впустую. Вот мне, попала бы голубушка чуть ниже или чуть выше — и не было бы радостей больше никаких до второго пришествия. Повезло. Мне вообще везет, сами видите, лежу за ширмочкой, будто отхожу, а на деле — как король. Слыхали, вчера семерых спецназовцев из Пактии приговорили к вышке? Они совсем сдурели: перебили отступающий афганский взвод, так нет, чтобы остановиться, пятнадцать наших салаг, тоже отступающих, перестреляли и добили. Салаги, наверное, не поняли, что и как: увидели, соседи отступают, и сами начали отходить. А спецназ накурившийся был, а то и больше — у них и героин бывает лучшего качества, вот и не соображали уже, где наши, где не наши. Представляете, товарищ лейтенант? Ведь это уже полный беспорядок — по своим стрелять. Салаги они или не салаги,

какое это имеет значение? По афганцам – другое дело, по союзникам можно и пострелять, раз отступают. Не нам же все время за них подыхать. Затеял войну – так вой, нечего на другие плечи все сваливать, правильно я говорю?

– Не знаю. Скажи, а Сторонков где, почему не вижу сержанта?

Пименов тонко хихикнул:

– Он в помещении склада устроился, скажете часовому, что вы к Сторонкову, он пропустит. А я пока посплю, солдат спит – служба идет. Люба придет, разбудит. Хорошо, когда на войне тебя баба будит. Склад за госпиталем, метров пятьдесят будет с гаком...

Склад напоминал большую фронтовую землянку. В первую секунду Борисов никого не увидел, но из-за груды ящиков раздался голос Сторонкова:

– Сюда иди, лейтенант. Спасибо, что наведал. Сюда.

На двух койках, покрытых большим матрацем, лежал с миловидной блондинкой старший сержант Сторонков. На табурете рядом – аккуратно сложенный джинсовый костюм, на тумбочке висилась большая ваза с цветами. Вот устроился, сволочь! Хотя чего мне его сволочить? Единицы умеют так устраиваться, а он правильно сказал, что мы не в тылу грабим народ, а – воюем. Почему это я сказал "мы"?

– Садись, лейтенант. Да фонарик свой потуши, а я фитилек лампы подкручу, как днем в этом милом каземате станет. Я сказал Пименову и салагам на посту, чтобы тебя пропустили. Как отдохнул?

– Хорошо. Сутки дрых.

– Это нервы. А после тебе захотелось выпить и с хорошей женщиной потеснее познакомиться, не правда ли? Классика! Кстати, познакомься...

Борисов махнул рукой, мол, покажу ему, что и я не лыком шит.

– Не стоит. Вас, девушка, зовут, наверное, Наташей, а фамилия ваша – Боровицкая?

Она приподнялась на койке, придерживая на груди простыню, белоснежно сверкающую крахмалом при сильном свете большой керосиновой лампы. Глаза девушки были ленивыми и почти не мигали. И эта анашой балуется. А после ей детей рожать... Чего это я, не хватает еще мораль тут разводить.

– Откуда вы меня знаете? Небось офицеры вам про меня наговорили, такая, мол, она и такая, да?

– Нет, о вас только хорошее говорили.

– Свежо предание. Но мне все равно, б... не б..., все одно б... называют. Отвернитесь, я оденусь, мне на дежурство.

Уголкем глаза Борисов все же увидел ее тело, подумал о ждущей его пятидесятилетней женщине и, к своему удивлению, не ощутил к Сторонкову зависти. Где же она, эта зависть? Получается, будто мы с сержантом настоящие друзья, ведь только к настоящему другу не чувствуешь зависти, а радуешься за него. Или это война? Боевая дружба? Короткая часто, но сильная, как настоящая, как та, что с детства? Возможно.

Сторонков поглядел на джинсовый костюм и после на лейтенанта:

– Ты себе не представляешь, лейтенант, как приятно пройтись здесь, на базе, в штатском, пусть даже и под землей.

Борисов рассмеялся:

– Как же, представляю. Это, наверное, как бросить вызов всему миру. Даже если из подземелья.

Брови сержанта высоко поднялись:

— Ишь ты. Понимаешь. Пока, Натаха, приходи после дежурства.

— Слепой сказал посмотрим. Раскомандовался перед своим офицером.

Борисов посмотрел ей вслед без всякого желания, как на чужую вещь:

— Она что, действительно, нашего брата офицера не любит?

— Не очень любит, считает, что вы хамы и уверены, что вам все дозволено.

— И что, действительно, решила по доброте душевной только с вами...?

— Ну и выражения у тебя, лейтенант. Нет на свете ничего очень уж белого и очень уж черного. Не бывает добра совсем доброго и зла совсем уж злого. Наташа плачет над умирающими, я это сам видел, не торгует ничем, ни собой, ни этим добром, а тут в коробках товара на сотни тысяч. Она жалеет только солдат, а те ей подарки делают, и чем упорнее она не просит, тем больше она их получает — ведь подарок делаешь не б..., а любви...

— И она это знает.

— Возможно. Кроме того, факт, что она с вами, офицерами, не хочет иметь ничего общего, сделал ее на базе чрезвычайно популярной, за нее ребята пойдут в огонь и в воду, за нее любому глотку перегрызут, они для нее все что угодно достанут...

— И она это знает.

— Возможно. Я что, лишил тебя еще одной иллюзии?

Пришел черед Борисова сказать:

— Возможно. Но странная у тебя философия. Нет, значит, добра, нет зла. Ну я не философствовать пришел, а навестить и спросить, нет ли чего нового.

Сторонков посмотрел на Борисова с доброй насмешкой:

– Много нового. Послезавтра отбываем. Тебе завтра Осокин скажет. У меня слишком легкая царапина, чтобы полежать еще недельку в этом чуде подземном, так что с вами пойду. И еще: слухи, что в Женеве они собираются договариваться всерьез, что на этот раз это не туфта, – усиливаются.

Борисов скривился:

– Опять ваши "голоса". Чего ты врагам веришь? Не ожидал от тебя.

Сторонков повертел худощавой, но крепкой шеей, бросил нерешительный взгляд на погоны офицера, глаза вспыхнули и сразу попритухли, и Борисов понял, что ничего особенно интересного он не услышит.

– Не в них дело. Слух идет из Кабула, из самого штаба армии. Если он подтвердится, знаешь, что это означает?

Борисов скривился еще сильнее:

– Что войне конец, что кто-то армию предал, что все насмарку, что кто-то ошибся? Откуда я знаю...

– Это значит, вояка ты мой, что военные действия значительно усилятся, во всяком случае для нашего брата. До эвакуации наших из любого укрепрайона начальство постарается максимально облегчить задачу смены, бедных наджибовцев, которых пошлют удерживать покинутые нами позиции. Главной нашей задачей, вернее, твоей – будет бегать по горным кишлакам и находить склады оружия. А работа эта – самая пакостная, можешь мне поверить на слово. Теряешь людей больше, чем в настоящем бою. Так что успеешь еще пару дополнительных звездочек заработать... Ладно, не хотел я тебя обидеть, но согласись: мы из разных миров, у нас противоположные интересы, а если на

высоком уровне они вроде и сходятся, то сойтись все равно не могут, поскольку в разных измерениях обитают... Что, может, скажешь, что я родину не люблю?

Борисов искренне буркнул:

— Ничего не понимаю. Ахинею какую-то несешь. Не хочу и никогда не захочу на крови ребят себе карьеру строить. Я не сволочь — на чужой крови, даже на простом несчастье другого своего блага добиваться. Я никогда не стучал, никогда никому ж... не лизал. Я — боевой офицер. Моя страна воюет, я воюю. Вот и все. А если в этой войне, потому что воюю я не так уж и плохо, дадут мне награды и звания, то что — отказываться? Обидел ты меня... Ведь все время норовишь подтрунить ядовито, я же вижу, чувствую.

Сторонков сильнее повертел шей, спрятал глаза:

— Хорошо говоришь. Уверен, что искренне. Но я не привык верить офицеру в армии, преподавателю в институте, начальнику цеха на заводе. Так что не обижайся, дело не в тебе... Мы можем стать настоящими боевыми товарищами, но вот друзьями — навряд ли.

Нет, Борисов не обижался...

”Но странно все-таки, что мне вообще захотелось, чтобы Сторонков стал моим другом. Оттого, что вместе уже воевали, будем воевать, на смерть глядеть и смерть раздавать? Но какая может быть между нами дружба, когда я его, в общем, не понимаю. Размяк я сегодня, только и всего. Пора к Лиде. Ждет”.

Он сказал весело:

— Договорились. Я ведь не напрашиваюсь. Я тебе даже вот что скажу: меньше всех наших ребят тебя понимаю. Все намеками какими-то говоришь, непонятно, куда ребят ведешь своими разговорами, самым своим поведением. Не могу понять, что тебе на самом деле

нужно. И Тангры тоже не понимаю. Но он хоть молчит все время.

— А что Тангры?

— Мне разное говорили о наших нацменах. Будто воевать не хотят с афганскими таджиками, узбеками, туркменами. Тема щекотливая, сам понимаешь. Тут тебе вопрос национальный, тут тебе религиозный, а вместе получается — политический. А Тангры молчит. Как будто можно на него положиться, это я видел, но хотелось бы быть уверенным. Дело не только в нем... вы скоро дембельнетесь, а мне дальше служить, дальше воевать.

Сторонков усмехнулся, достал из-под койки ведро с водой, из ведра бутылку водки и два стакана:

— Вопрос интересный. Я заметил, что ты поглядывал искоса на Тангры. Тут без полбанки не разберешься. Выпьем?

— Я уже свою дозу получил. То ли сухой, то ли полусухой закон, а все глушат себе. Ну да что там... Ладно уж, наливай.

— Нет, со спиртным не просто. Ты — в привилегированном положении: только прибыл, только первый бой — вот и наливают. И к нам попал — тоже повезло. А посмотри внимательно вокруг — люди без спиртного наркоманами становятся. И не одиночки, а — пачками. Готовы на все ради "косяка", ради "прихода". Мы одного дружка Тангры пытались спасти, он уже камнями себя по телу бил, чтоб меньшею болью большую отогнать, ту, что в костях. Что, не знаешь? Опиум дает костям фосфор, а как в жизни бывает: если кто тебе бесплатно кушать дает, будешь работать ради питания? Так и наш организм: раз опиум дает фосфор, так и незачем его производить. А как только наркоман бросает шабить или колоться, или, что чаще

всего, не может свою порцию добыть, так все и начинается: кости требуют фосфор, организму нужно много времени, чтобы снова перестроиться и начать вновь выдавать его костям. Боль такая, что часто с жизнью расстаться, лишь бы избавиться от нее, — самое, понимаешь, желанное. Пока мы доставали для дружка Тангры опиум, тот успел дуло автомата в рот себе засунуть да и нажать. Так что, лейтенант, спиртное в Афганистане нужно уважать больше, чем на родине... Но ты о другом спрашивал. О наших нацменах. Плохо тебя и по этому вопросу информировали. Есть, конечно, нацмены, не желающие стрелять в своих единоплеменников, другие — в единоверцев, третьи — в тех и в других, но это — единицы, чаще всего нацмены служат нормально и воюют нормально. Как Тангры. Ну, что общего между афганским и нашим туркменом? Что они туркмены? Чистая абстракция. Вот ты, стал бы воевать с русскими, эмигрировавшими в США века два назад и воюющими против тебя в рядах американской армии? Но есть все-таки среди наших нацменов гнусная прослойка, ущербная, так сказать. Эти нацмены презируют афганцев: дикари, мол, звери, патефона от вольтметра отличить не могут, телефон — от велосипеда. А себя считают, видишь ли, цивилизованными — и из кожи вон лезут, чтобы это доказать. Боятся, как бы мы не подумали, что они жалеют афганцев, понимают их, спасают. В этом и ущербность: как бы кацап не подумал, что мы того, снюхались с духами, что мы сами духами стали. И, знаешь, даже мысль о том, что мы можем так думать, приводит их в ярость. Нас ненавидят, но афганцев начинают ненавидеть еще больше — хотя бы потому, что на нас не отыграешься, а на афганцах сколько угодно. И знаешь, как они доказывают свою цивилизованность? Зверствами. Кончают

всех подряд без всякой причины. Меня это, конечно, не касается, мало ли что на войне делается. Но такого нацмена я при себе иметь не хотел бы. Либо перевоспитал, либо кончил. Такой всю группу подвести под монастырь может — ему доказать свою цивилизованность зверством важнее, чем выполнить приказ и остаться в живых. Так что, лейтенант, таких остерегайся. А если увидишь, что нацмен в своих не очень охотно палит не по трусости, так он парень, наверное, хороший, просто нужно ему другую работу дать, только и всего... хочешь посошок? Да, а Тангры самый что ни есть нормальный парень. И воет отлично. Так-то, господин лейтенант, на таких русская армия стояла и стоять будет.

Борисова раздражал поучительный тон сержанта, но возникшее чувство дружбы к нему не ушло.

...Официантка уступила Борису место на койке, как это сделала бы жена после десятка лет супружеской жизни. Любила она его без страсти, но с такой нежностью, что он опешил. Всем ее телом правили глубокая доброта и жалость. Проснувшись под утро от ее ласкового прикосновения, Борисов почувствовал острую благодарность. Ночью она сказала, мягко удерживая его прыть:

— Спокойно. Не надо торопиться, ни в постели, ни на войне.

А под утро, глядя, как он одевается:

— Вот, еще один мальчишка на мою голову. Чего ты засуетился, ничего мне не нужно. А если действительно захочешь от души мне подарок сделать, то ты спроси, а я тебе отвечу. Но не теперь. В Кабул поедешь, вот тогда и скажу, что привезти. Но лучший для меня

подарок, если ты, пацаненок, вернешься целым, тьфу-тьфу. Иди.

Тишину базы нарушал рев вертолетов. Борисов, чувствуя себя легко, сильно, упруго, вздохнул глубоко еще прохладный воздух, улыбнулся: вот такой и должна быть война.

V

Во время нападения на кишлак Борисов всё повторял про себя: "Так, гранату в окно, вышибить дверь и веером от пуза". Ни партизан, ни оружия в кишлаке не нашли. Группа Бодрюка все же обнаружила в шалашике под абрикосовым деревом раненого афганца. Борисов посмотрел вопросительно на Бодрюка. Тот пожал плечами:

— Рана огнестрельная, почти зажила. Может, враг, может, нет. Ну его к черту!

Борисов кивнул головой — убивать безоружного белобородого раненого претило. Главное, Борисов искренне считал — операция завершилась; боевое безумие поостыло, превратилось в усталость...

Они отвернулись от раненого, чтобы увидеть подходившего к ним в окружении автоматчиков подполковника Звонаря, замполита полка. Бодрюк гримасой, смешно поджал губы, скосил сузившиеся глаза, мол, ничего не поделаешь, и, вновь повернувшись к молчавшему старику, всадил в него очередь.

Звонарь был недоволен:

— В чем дело?

— Душман. Был ранен.

— Так. Не нашли, значит, оружия. Плохо, плохо. Но душманы в этом кишлаке были. Кто-то ведь по нам выстрелил... а этот вот не ушел. Потерь нет? Это хорошо. Что, вспотели, братцы? А какие потери у противника?

Бодрюк рывкнул:

— Еще не подсчитали, товарищ подполковник! Вон идет гвардии сержант Сторонков, ему, возможно, уже доложили.

— Сторонков!

— Да?

— Потери противника тебе известны?

— Какого противника?

— Не дури! Сколько?

— Уже подсчитали: тридцать шесть трупов. Из них женских и детских...

Замполит Звонарь крикнул сердито, но в его голосе не было ни угрозы ни исступления:

— Хватит, Сторонков. Не заходи слишком далеко. А вам, товарищ старший лейтенант, следовало бы лучше заботиться о моральном облике своих подчиненных. Ладно, поехали.

Через три дня во втором кишлаке также не нашли оружия, но обнаружили большие запасы продовольствия. Жители клялись Аллахом, что продовольствие — только для них самих, просили не обречь кишлак на голодную смерть. Подполковник Звонарь остался в штабе. Но был с двумя другими группами капитан Саркян, поэтому, хотя приказ был ясен, Борисов решил подождать, пока закончится обыск всего кишлака. К нему подошел Стороков:

— Нет тут оружия. А свое личное они, должно быть, хорошо спрятали. А продовольствия тут много. Начинать?

— Надо подождать Саркяна.

— Зачем? И так все ясно. Все равно ведь надо сжечь. Один склад нашли в полом дувале. Тангры нашел, у него нюх. Зачем ждать? Чем быстрее дело сделаем, тем быстрее и смотаемся отсюда.

Борисов махнул рукой:

— Давай.

Вопли женщин и плач детей действовали на нервы. Напряжение росло. Борисов ждал выстрелов... дождался собак, огромных черных афганских псов. При вступлении в кишлак пристрелили пять или шесть собак. Сторонков сказал:

— Их не кормят. Хорошие сторожа, а вместе с тем — похлеще волков. Что-то мало мы их кончили. Где остальные?

Бросилось на них не меньше пятнадцати собак. Борисов оцепенел, настолько неожиданным оказалось для него нападение. Его спас отец Анатолий, успел дать очередь — пес, пораженный несколькими пулями в спину, все же успел последним судорожным движением челюстей, упав на Борисова, разодрать ему слегка плечо и лапой сильно поцарапать лоб. Прибежал Саркян:

— А, псы. Бросают их на нас, а после кривятся: мы не знали, мы не понимали, собаки — не люди, не слушаются. Знаем мы все это...

Капитан не успел договорить, ловко пущенный из соседнего дома камень попал прямо в лицо. С десятков автоматов стали бить по дому. Борисов, пошатываясь, размазывая ладонью по лицу стекающую со лба кровь, старался опомниться. Что случилось? А, это Саркян. Он орет, а я его плохо слышу. Выводят из дома афганцев, всю семью. Зачем? Как зачем... чтобы расстрелять, а как же. Да это же мои выводят... нужно им приказать. Что? Как что... стрелять... расстрелять. Он плохо слы-

шал собственный голос, но он казался ему твердым, непреклонным:

— Сторонков, чья сегодня очередь?

Сержант мрачно ответил:

— Моя.

Бодрюк и Богров начали ставить афганцев к стене дома, парня, старика, двух женщин, начали было подгонять трех подростков лет девяти-десяти, но Сторонков так заорал, что Богров, дав им пинка, прогнал их... раздались очереди в упор. Вслед за выстрелами пошли взрывы, продовольствие летело с глиной стен, черный дым пополз по кишлаку. Капитан Саркян, выплевывая кровь из разбитого рта, орал:

— Всех! Всех на х... перестрелять! Всех!

Он всаживал в стены домов, в дувалы короткие злые очереди, долго не мог перезарядить и клял себя за трясущиеся руки...

У самой околицы кишлака за несколько минут до подхода вертолетов несколько афганцев открыли огонь. Были убиты наповал Николай Богров и Борис Тангрыкулиев.

Капитану Саркяну две пули попали в бок, и только рев вертолетов заглушил его стоны и матерщину. Вертолет боевой поддержки расстрелял убегающих партизан, затем, развернувшись, израсходовал над кишлаком весь свой боезапас. С каменного пригорка старший лейтенант Борисов безучастно наблюдал, как рушились дома и погибали люди. Он пытался, но не мог ощутить удовлетворения от происходящей на его глазах мести за гибель ребят. Прыжок афганского пса словно отнял у него всякую возможность радоваться или огорчаться. Оскаленная морда пса мерещилась перед глазами, словно дразнила вывалившимся уже не дышащим языком... Ныло плечо.

Сторонков доставал из РД прозрачные мешки...

Только через сутки, ночью, заметив, сколь чутко Лида избегает прикоснуться в темноте к его еще болевшему плечу, он обрадовался, что жив.

В спальном помещении взвода, большой новой палатке, состоялись поминки. Отец Анатолий, помолившись, сказал напоследок:

— Пусть будет им земля пухом. Тангры не верил ни в нашего православного Бога, ни в Аллаха, но он не ведал, что творит, как и мы все не ведаем. Поэтому будет ему прощение. И Кольке тоже; говорил я ему, повторял: нельзя объявлять себя убитым — грех, но он не верил. Колька вообще был язычником, но он тоже будет прощен. Выпьем за ребят.

Сторонков молчал, втягивал в себя анашу, запивал чифиром. Бодрюк нервничал, все проверял посты салаг, расставленные им вокруг палатки — ему все мерещилось внезапное появление начальства. Приглашенный Борисов тоже чувствовал себя неуютно. Но... ”не мог же я отказаться? Мне бы ребята не простили. Но эти дурацкие молитвы вместо политинформации прямо в расположении части... И эта водка, закуска... Не принято, видите ли, на поминках прятаться”.

Осокин принял его радушно, помахал рапортом:

— Ничего, лейтенант, потери оправданы, вы с Саркяном не могли иначе поступить, уж очень упорным было сопротивление душманской банды. Как прошли поминки? Куроть опять дурил? От меня ничего не скроешь, главное, чтобы дальше не пошло... И не пойдет, я обеспечу, а ты продолжай так воевать, ничего другого от тебя не требуется. Да, отличные рапорты пишешь. Молодец!

...В приемной откормленный татарин вытянулся, отдал честь, потом растянул лицо в то, что он считал

подобострастной улыбкой. Старший лейтенант Борисов не отдал ему честь и на улыбку не ответил.

На плацу маршировали салаги. Они обливались потом, мечтали о воде, но еще больше об отдыхе изнуренного тела, разбитых ног. Борисов добродушно понаблюдал за ними. Мимо плаца прогрохотал, натужно хрипя двигателем, полуразбитый БТР. В полукилометре на летное поле садились вертолеты. За плацем трое салаг — на них еще топорщилось обмундирование — засыпали воронки. Мимо них прошел со свертками под мышкой — мыться — взвод мотопехоты.

Жизнь продолжается. Хорошо, что я добился для ребят пропуска в "убежище". Они барахтались в бассейне, как дети... Да, дети. Все мы... дети, только вот чьи? Эти вот салаги еще дети своих родителей, а вон те, что мыться пошли, дети армии, а мои ребята — дети войны. И я уже дитя войны. А наказывает мать по-разному. Кому выговор сделает болезнью, контузией, кого выпорот раниением или увечьем небоевым, а кого серьезно накажет... смертью. Да, все — продолжается.

После поминок отец Анатолий преподнес старшему лейтенанту золотые швейцарские часы: "На память от ушедших ребят". И с просьбой: пусть их заменят не салаги. "Мы и так озверели, а салага под боком — только лишний соблазн, лишние грехи". Борисов обещал, а Осокин дал слово. "Ему самому выгодно, сам говорил. А выйдет — мы хорошие, о солдатах заботимся. Так и надо... А я ведь еще ни одной политинформации не провел. Но что я им скажу, когда они лучше меня все знают. Поставил галочку — и ладно. Нет, все-таки надо будет провести нужную беседу на тему "Армия и перестройка" или "Демократизация и вооруженные силы". Решено, а то как-то нехорошо получается".

Очередной горный кишлак погибал медленно, но верно — пять десантных групп и пять вертолетов уничтожали его дом за домом. На этот раз информация хадовцев оказалась точной — в кишлаке отдыхал партизанский отряд, не меньше пятидесяти человек. К кишлаку шли полночи, таща на себе минометы, пулеметы, гранатометы. Шли быстро, теряя под конец лишившихся сил, вернее, переоценивших свои силы людей. Бодрюк ворчал "про себя", но так, чтобы было слышно:

— Не могут бесшумные "шмели" придумать, что ли? Чтоб лопасти работали, как вентилятор у нашего полковника. Мы бы в этой сучьей деревне за минуту были. Так нет, тащи на горбу все это железо, будь оно проклято.

Бодрюк шел за Борисовым, нес пулемет и боеприпасы к нему. Горы быстро отнимали силы, но Борисов еще совсем не устал, поэтому ворчание сержанта его не раздражало. Сержант неизменно добавлял:

— Это я так, товарищ лейтенант, болтаю, чтоб душу отвести. Вы не беспокойтесь, все сделаем, все выполним.

А Сторонков молчал мрачно, упорно. На все вопросы отвечал хмыканьем, отворачивался. В его глазах светилась умная злоба, губы передергивала едва заметная судорога. Куманьков сказал перед вылетом Борисову:

— Это с ним бывает. Нужно переждать. У него тоже горе от ума.

Кишлак взяли в большое кольцо и начали его стягивать. На беду афганцев ночь была без малейшего ветерка. Первые же выстрелы и крики часовых вызвали последний бросок к кишлаку. Были быстро расставлены минометы, пулеметы, снайперы выбрали себе позиции — все живое в кишлаке подлежало уничтожению. Все

попытки афганцев вырваться из кишлака к горам оказались безуспешными – интенсивный огонь отбрасывал их. По дувалам и домам били из гранатометов. Хадовцы доложили: в кишлаке нет ни ракет, ни крупнокалиберных пулеметов; вертолеты завертелись над домами, под ними все живое и неживое оказалось как бы втянутым в гигантскую мясорубку. Красно-желтая пыль поднялась над превращающимся в кладбище кишлаком. Борисов, посылая в пыль очередь за очередью, в боевой горячке кричал что-то обидное для афганцев, с трудом слышал свой голос. Тишина наступила внезапно: последний вертолет, выпустив весь свой боезапас, развернулся и ушел за кишлак – ждать в укромном месте убитых и раненых. Пулеметные и автоматные очереди стали тишиной. Пыль медленно оседала, осела, легла. Стрельба словно застыла в воздухе. Тишина была такая, что свистом отдавалась в ушах.

– Вперед!

Уличные бои продолжались не меньше часа. Старший лейтенант Борисов бил из гранатомета по дверям, отец Анатолий ловко швырял гранаты в окна. Ворвавшись в дом, Борисов давал длинную веерную очередь слева направо. Раз споткнулся, упал; ему показалось – ранили. Он застыл. Над ним склонилось лицо Бодрюка, руки быстро ощупали его, рывком подняли на ноги. В ярости от только что испытанного ужаса Борисов оттолкнул сержанта и бросился очертя голову к следующему дому. От удара ногой дверь удивительно легко распахнулась. Он дал очередь не слева направо, а с середины полутемной, поблескивающей отполированной глиной комнаты... Ожог ударил его в живот. Падая, Борисов увидел бросающуюся на него небольшую

человеческую фигуру и успел очередью отбросить ее к стене...

— Лейтенант, ты меня слышишь?

— Слышу.

Старший лейтенант Борисов видел и слышал сидящего рядом с ним Сторонкова... Чего он меня спрашивает? И чего это я валяюсь? И почему это я такой слабый? Я что, ранен? Но боли ведь нет... Да, ожог был, был. Точно был, меня ранили. Куда? Что со мной?

— Лежи тихо, не дрыгайся.

Красное от пыли лицо Сторонкова.

— Лежи, лежи. "Пчелки" и "шмели" раненых увезли. Мы тебя не сразу нашли, а то бы запихнули как-нибудь. Придется ждать. Чего ты один попер в тот дом? Болит чего?

Борисов прислушался к себе:

— Нет. Куда меня?

— В живот. Мальчишка тебя ножом пырнул. Но ты успел его кончить. Значит, не болит?

Сторонков аккуратно спрятал шприц.

— Серьезно меня?

Лицо сержанта искривилось, судорога приподняла верхнюю губу, в оскале стали видны мелкие зубы, розовые десны:

— А чего тебе, лейтенант, правды не сказать? Хана тебе.

Борисов в растерянности повертел головой, как бы отряхиваясь от неуместной шутки сержанта, увидел большой камень над собой, отбрасывающий густую тень, и поодаль сидящих людей, узнал своих ребят — Бодрюка, отца Анатолия, Глушкова, так и не выпустившего после боя из рук свою "драгуновку", Куманькова: у

всех были уставшие и грустные лица... Они явно избегают смотреть на меня...

Знание, что он умирает, оказалось на удивление простым и почему-то не внесло ужаса в его мысли. Так, значит я умираю. Грустно это, грустно, но ничего не поделаешь, такая у нас профессия. Надо только подготовиться.

— А сколько, как ты думаешь, мне осталось быть в здравом уме и, как говорят, твердом сознании?

Борисов себя слышал. Я говорю тихо, но голос мой не дрожит, нет, не дрожит.

Сторонков ответил хмуро:

— У тебя довольно сильное внутреннее кровоизлияние. Черт его знает, минут десять-пятнадцать. Что, хочешь, может, исповедаться? Отец Анатолий не настоящий, но все же полковой батюшка, а Богу, если он действительно есть, наплевать, наверное, настоящий он священник или нет, раз от души вера у него идет. Как?

— Нет, не хочу. Нет Бога.

— Гляди... А вдруг есть?

— Ну, знаешь... Ладно *после* пусть молитву прочтет. Ты мне лучше скажи, что другим говорить не хочешь. Мне теперь можно: за Россию воюем здесь, как ты всем говоришь, или за что-то другое? Мне подыхать через несколько минут, знать охота — за что?

Сержант Сторонков криво усмехнулся и сплюнул. Закурил, дал умирающему затянуться. Борисову дым показался горьким. Ему вообще не хотелось курить.

— Выпить хочешь? Все ведь тебе одно.

— Нет. Нет охоты. Даже бабы не хочется, а ведь меня уверяли, что смертельно раненные только о том и думают. Мне даже прошлое не вспоминается. Ну? Говори, а то время уходит.

Сторонков заговорил чуть тянущимся спокойным голосом:

– Нет, не за Россию ты помираешь, лейтенант, не за империю, не за выход к теплым морям, как говорят на Западе. Ты умираешь из-за трусости и глупости нашего руководства, за ничего больше. Мы здесь давим афганцев по той же причине, по которой раньше давили венгров, чехов и других. Эти суки в Москве уже давно выработали концепцию: страна, граничащая с СССР и вступившая на путь социализма, — с этого пути сойти не должна. Понял, лейтенант? Они боятся, что стоит в одной стране разделаться с коммунизмом — как начнется цепная реакция. А тупость тут в том, что мы с этой концепцией в один прекрасный день заработаем весь мир на голову — и будет нам хана, не только коммунистам, но и России. Вот за что ты умираешь. Ты сам понимаешь, что я не могу говорить ребятам правду, потому что такая правда — смерть, от которой спастись нельзя. Афганцы могут и промазать, трибунал — никогда. Да и как с такой правдой воевать, чтобы остаться в живых? Воевать за Россию здесь можно, хотя и противно, но как воевать здесь против России? Не выдержали бы ребята, они и так полоумными тут становятся...

“Хорошо, что боли все-таки нет”, — подумал Борисов, а когда стал говорить, удивился слабости своего голоса:

– Ты, Сторонков, самый гнусный тип, которого я когда-либо встречал в жизни, а мне ее так мало осталось, что... А я ведь, не поверишь, уже считал тебя своим другом. Ловко ты меня обманул, врешь, все время врешь. Все, что ты говоришь, — ложь. Ты только о себе думаешь, о своей шкуре и о своем кармане. Ты пытаешься напоследок лишить меня офицерской чести.

Я выполнял честно свой долг, это ты убийца и вор, потому что ни во что не веришь. Ничего у тебя не вышло, сержант. Уходи. Пусть ко мне Куроть подойдет.

Сторонков задумчиво потер пальцами переносицу, после ладонью сильно провел по своему маленькому лицу. Когда он отнял руку, Борисов увидел в его глазах печаль и усталость, ничего больше. Борисову стало обидно, он предпочел бы увидеть злобу, доказательство своей победы. Но обида мгновенно прошла. Действительно, какое это теперь имеет значение? Борисов отвернулся медленным движением головы от сержанта. Сторонков ушел.

— Нужно тебе что-нибудь, таищ лейтенант?

Борисов с удовольствием прочел на лице присевшего рядом с ним человека доброту и участие.

— Отец Анатолий, скажи лучше "господин лейтенант".

Отец Анатолий улыбнулся, как взрослые улыбаются детям, когда не понимают их:

— Да, да... господин лейтенант.

— У меня к тебе, отец Анатолий, просьба.

— Конечно. Все исполню, не сомневайся.

— Расскажи моим родителям всю правду. Ничего не приукрашивай. Лиде, официантке, скажешь: "Борисов просил передать, что ты была права: нельзя торопиться ни в любви, ни на войне". У меня в кармане найдешь адрес Светланы Войковой. Напишешь ей от моего имени, что она стерва... только не забудь уточнить, что сказал я это спокойно. Что еще? Да, часы, ваш подарок, передай родителям, скажи, что это все, что я заработал на этой войне... Хотя, наверное, наградят меня посмертно, Осокин позаботится. Вот и все. Ты меня слышишь?

— Слышу, слышу, все сделаю. А...

– Да, если хочешь – помолись за меня, но только –
после... После. Ну, прощай.

– Болит у тебя там?

– Нет.

1988 г.

В О З В Р А Щ Е Н И Е

Рассказ

Вернувшись домой после демобилизации, Александр упорно молчал. Для его друзей произошедшая с ним метаморфоза казалась невероятной. Сашка по кличке "трибун" превратился в молчаливника. Он, теперь уже не мальчик, но муж, крупный мужчина, словно потерял казавшийся когда-то неисчерпаемым заряд бунтарства. Говорившие ему часто: "Тише, посадят ведь; тише, зарежут ведь; тише, вытурят ведь", — теперь с недоумением видели его спокойный, лишенный вызова взгляд. Даже морщины на его лице больше походили на складки и казались лениво-одутловатыми, будто появились не от страданий, а от обжорства. Пил Александр столько, сколько и до призыва, не отказываясь и не мешая, но только ныне, выпив положенное, он не раскрепощал до конца свой разум, а шел, хитроумно улыбнувшись, спать. Иногда скользила в его жестах, окутывала интонацию слов подспудная горечь, но это отметила только мать, а отметив, не опечалилась.

И она шептала отцу:

— Видишь, вернулся, вернулся. И главное — он там такое испытал, такое увидел, такое понял, что не

будет больше головой об стенку биться. А я было думала — вернется мстительный, злобный... И если захочет здесь дома встретаться с кем, будем с тобой в кино уходить, ладно?

Муж ухмыльнулся:

— Расщедрилась...

Два с лишним года назад военком Бастрюков, глядя на Александра, со злобным недоумением говорил:

— Не понимаю, ну, не понимаю, откуда у нас такая сволочь берется. А ты, здоровый парень, чемпион к тому же каратэ, и учился хорошо... тебе же все двери были открыты... и биография без дерьма. Мой сын был бы таким... Гад, о шмутках да о джазе думает, его силком в университет не затащишь... Так нет, ты против порядка пошел. Как мог до такого додуматься, — против порядка!

— Я, товарищ полковник, хочу, чтобы у нас лучше было.

— Вот-вот, я и говорю: против порядка. Так вот, таких, как ты, решили больше не сажать, чтобы задарма хлеб государства не жрали. А решили, так сказать, скопом, вот-вот, скопом отправить служить родине в самых ответственных местах. Что-то вроде штрафбата. Из университета тебя вытурили за умную голову, повесточку получишь и — в путь-дорогу. Отправлю тебя в Ташкент. А куда дальше отправят, — сам должен догадаться. У тебя, это между нами, еще есть время сбежать. А что, отсидишь после положенное, зато живой будешь. В лагере даже тепло бывает. Спрашиваешь себя, почему я тебе это говорю? А потому, что, выполняя приказ, с ним не согласен. Почему ты должен сражаться и погибать рядом с хорошими ребятами, честно выполняющими свой долг перед страной? Может;

даже ты из-за своей учености при штабе устроишься и чистеньким вернешься, а парни что надо — в цинковых гробах...

Александр много знал о Бастрюкове. В созданном Александром и его друзьями Комитете по защите прав трудящихся шел о Бастрюкове разговор, и было решено, раз он отправлял людей в Афганистан, а они возвращались в гробах, порыться в биографии и личной жизни полковника. Расследование ничего не дало. Как выяснилось, сын его был ханыгой, дочь блядью, он сам имел любовницу, но к делу это не относилось, — Бастрюков был честен, "вольные" не продавал, даже сына от армии не освободил. Кто-то сказал в Комитете:

— Есть же такие люди, уму непостижимо. Честный чинуша, верен власти, ничего другого представить не может. Такие — самые опасные.

А кто-то ему возразил:

— Ничего подобного. Такие служить будут любому государству, любому режиму. Будет у нас завтра демократия, — будет ей верен. Он вроде Максим Максимыча, служака, одним словом.

Покачали головами остальные, но решили оставить полковника в покое...

Слушая Бастрюкова, не знал Александр, правильно или неправильно они тогда поступили. Сказал ему только:

— Ладно, я подумаю.

...Теперь, спустя два года, он вновь стоял перед Бастрюковым. И знал, что во всем городе только этот человек, да, пожалуй, кто-то в ГБ, знает причину его молчания, вернее, думает, что знает.

– Ну, давай билет и топай на гражданку. Заслужил, заслужил.

В глазах полковника было неподдельное восхищение. Он радовался от души, что тогда ошибся. Наверху, оказывается, были правы. Этот профессиональнодвигающийся старший сержант, этот солдат и ему подобные были его утешением, его оправданием перед жизнью. Полковник пружинисто встал и искренне пожал старшему сержанту руку.

– Да, ты стал настоящим. Кто бы мог подумать! Орденоносец! Скажи честно, почему тогда не сбежал?

– Не люблю, когда меня считают трусом.

– Это правильно. Вот ты не испугался, выполнил интернациональный долг, защищал наши интересы в Афганистане, а дружки твои продолжали тут дурить и дурость свою законами советскими оправдывать. И нашелся на них закон. Посадили их, Скворцова посадили, Тайчера, Высоцкого, Капитанова. Не скоро им белый свет увидеть. Скажи, тогда на выборах, это вы листовки расклеивали? Дело прошлое, можешь сказать.

Александр грустно посмотрел на военкома и грустно же ответил:

– Не знаю, о чем вы говорите, товарищ полковник.

– Вот, опять шутишь с порядком. Что думаешь делать на гражданке?

– На завод пойду. Какая теперь учеба?

О Лене во время прохождения военной службы Александр думал, в сущности, мало. К чему? Он обманул ее: попросившись почти равнодушно, оставил при ней себя, каким он хотел быть, и день за днем силой фантазии обтесывал, подравнивал, лакировал себя в ее душе. Получалось неплохо. Он даже привык: созданный там помимо Лениной воли, вне ее знания,

образ Александра дышал благородством и помогал ему, реальному, существовать тут. Лена была драгоценным сосудом, в ней он сохранил себя, чтобы попытаться, перемахнув через грязь последних лет, заслужить уважение к себе в будущем. Он так думал и так верил, пока не подошел к ее дому. "Я из нее сделал "сейф" своих иллюзий и трусости, хотя она об этом не знает и никогда не узнает. Но теперь — расскажу всю правду. Какие силы запрещают одному человеку искать спасения в душе другого?

— Заходи, аника-воин, заходи. Трое суток как на воле, а всё не удосужился заглянуть. Думала, а чего он ждет, настроения?

Александрю казалось, висит на нем костюм мешком, а ноги босы, без привычной тяжести на них.

— Привет. Выпить у тебя есть?

— Есть, есть, припасла. К Лене любят зайти выпить. Лену вообще все любят, у Лены квартира есть.

Александр посмотрел на Лену, как днем смотрел на полковника Бастрюкова:

— Чего ты насмехаешься, хочешь, чтоб я ушел, скажи. Я не обижусь и на улице здороваться буду. Вежливо.

Лена быстро прошла по комнате, резко остановилась, с вызовом посмотрела в глаза Александру, сказала громко, отчеканивая слова:

— Нет, не хочу, чтобы ты уходил. Ты зачем пришел? Так выпей, а я пока — разденусь и лягу...

Александр почувствовал: наваливается на него сильная усталость. Лучше б я дома остался, дома бы напился, а после к Клавке-Безотказной пошел. Что это за романтика вперемежку с мещанством? Неужели и я таким был? Нет, не был? А может, все-таки был?

— У какого плохого поэта ты вычитала, что надо так говорить? Не кривляйся.

— Не буду. Ты у нас демобилизованный. И — живым вернулся. Живым.

Александр смотрел на ленино лицо, потерявшее маску язвительности, ставшее милым и потому чуть постаревшим, и знал, что все равно пойти он мог только к ней. "Что же мне сказать? Что люблю? Столько лет не говорил, утверждал: не имеем права на чувство, и вдруг вот тебе раз"... Он все колебался, говорить или не говорить правду, ну, полправды или даже четверть правды.

— Это не укор, пойми меня правильно, просто интересно: почему ты мне не писал, не отвечал на письма?

— Противно было. Хорошая эта "Посольская", забыл, что такая есть...

— А ее в продаже и нет, по благу достала. Я была тебе противна со своими мещанскими подробностями, со своими глупыми стихами?

— Противно было врать.

— Почему врать? Цензура? Ты испугался цензуры? Ты?

— Нет. Я мог любому раненому или дембелю письмо дать и дошло бы без помех. Я сам бы тебе врал, себе бы врал, х... его знает!

Лена отпрянула, сложила на груди руки, как бабки делают, восклицая "батюшки!":

— Ты никогда раньше не матерился. Ты забыл, мы все поклялись не поддаваться им, их языка не употреблять, не материться. Помнишь, мы выгоняли, не принимали тех... А тут ты... Что это?

Александр прикусил губу, по щеке прошла судорога. Он скривился, мотнул головой:

– Прости. Буду себя контролировать. Но знаешь, в армии трудно прожить без мата, просто невозможно. Не поймут, что говоришь. Прости. А клятва... Что клятва? Мальчишество это... Ты знаешь, что они мне орден дали?

Он пристально посмотрел на нее, ища издевки, осуждения, приговора. Лицо его вспыхнуло, задвигались скулы. Лена заметила, он вдруг стал очень некрасивым, и любовь-жалость едва не достигла ее глаз. Он так ничего и не прочел, кроме спокойствия.

– Да. Как вот бывает: друзьям срок дают, а мне – орден. Откуда знаешь? Мать сказала?

– Да, она.

– Я слышал, ты часто к нам заходила. И, знаешь, говоря мне это, мать как-то странно на меня посмотрела.

Лена ладошкой потерла лоб, спрятала глаза.

– Не знаю. Ты закусывай, закусывай. А после отдохни. На тебе лица нет. Приляг. Утро вечера...

– Опять ты со своей романтикой! Пришел усталый солдат с войны, она его ждала у калитки, глаз с пыльной дороги не сводила.

– Ты хочешь, чтобы и я заматерилась?

– Нет. Я-таки устал. Ведь только вернулся... Ты... ты... придешь?

– Конечно, приду, дурачок.

Едва стало светать, Александр сел голый за стол и выпил подряд сразу несколько рюмок... Сонная Лена подошла, обняла счастливыми руками.

– Не берет? И не надо, чтоб брала. Ты – мой. Отнеси меня. Отнеси обратно в постель.

– Лена, я хочу тебе сказать... что я тебя люблю и хочу на тебе жениться, но сперва...

— Вот уж мещанское предложение!

Она вдруг заплакала. Слезы текли обильно и ровно. Рыданий не было, тело было спокойно, словно еще ночью узнало все, что следовало... Он подумал: глупо, но счастья не может быть без прощения.

— Чего ты? Подожди, я сперва должен тебе рассказать.

— Я тоже должна тебе сказать...

— Ты — после. Но только не знаю, с чего начать.

— А ты делай, как все, начни с начала. Почему ты согласился одеть их форму?

— Не хотел, чтобы меня считали трусом. Да и подумал: всегда успею сесть. Может, и любопытство какое было, не знаю, трудно понять себя, куда легче объяснить свои поступки, оправдать их или осудить, в зависимости от идеи, точки зрения. Ты помнишь, мы все были уверены, что умрем молодыми, что на свободе нам в любом случае осталось мало жить. Вот я и думал, наверное, что при первом же оскорблении взорвусь, ну, меня и возьмут. Сунули под Ташкент в чудовищную палаточную грязь и вонь. Люди там набрасываются на еду, как свиньи, в страхе, что им не достанется, а если и достанется, то все равно — мало. Голод — не тетка. Через несколько дней я заметил с удивлением, что сам толкаюсь и проталкиваюсь, заметил, что у меня при виде еды, самой вонючей, глаза становятся жадными. Это открытие меня потрясло. Ну, думаю, ждать нечего. И тут как раз старики, старослужащие, они так себя для выгоды называли (я после понял, что не были они настоящими стариками, повадки не те), позарились на мое обмундирование. В общем, в армии принято, что молодые отдают старикам головной убор, ремень, ну и другое, если те потребуют. Я не отдал. Двое попытались у меня забрать силой. Я

их уложил. Тогда они меня подкараулили и набросились вдесятером. Ты помнишь, как мы все пошли учиться каратэ, чтобы нас не могли взять голыми руками. Ребята быстро бросили, а мне понравилось, я три года как проклятый... Да ты все это знаешь. Набросились они, значит, на меня, а я их всех и положил, но старался не калечить. Кто-то донес или офицер какой драку видел, но на следующий день меня вызвали в штаб. Ну, думаю, это первый этап. А мне там говорят: молодец, где научился, почему нам ничего неизвестно? Каратэ — не шутка. Пойдешь в отдельный десантный, других научишь, а после командовать ими будешь. Они, офицеры, говорят, а я ушам своим не верю. Что-то произошло во мне. То ли от грязи и мерзости вокруг, от того, что все боролись за существование, то ли от вечного урчания в желудке, но мне как никогда захотелось выжить, выбраться на поверхность... Послали на Кавказ в учебку, в отдельно сформированную учебную часть. Я вообще люблю спорт, его же было там вдоволь. Многие другие мучались от перегрузок, от разряженного воздуха, а я только чувствовал, как с каждым днем во мне прибавляется силы и выносливости. Ну и ребят учил. Мы все знали, скоро вместе под смертью гулять будем. Только мысль об афганцах была мне невыносима, а сильнее всего она колола во время политдолбежки. Спать не мог. Начал ребятам правду о войне рассказывать. В конце первой же недели учебки начал. Ребята меня, как инструктора, слушали, но не знали, чему и кому верить. На политзанятиях одно, а я после отбоя — другое. Кормили в учебке лучше, чем в лагере, но и есть хотелось больше — с утра до вечера покоя не давали. Люди как подрубленные валялись на койки, многие спали на плацу. Некоторые засыпали в га... в туалетах. Я чувствовал,

голова отказывается мне служить. А перед отбоем выйдешь из казармы, красота кругом при закате такая, словно ты бессмертный. Но я все равно продолжал, как во сне, правду говорить. И вызвали меня в штаб. Я мысленно простился с ребятами...

Лена сильнее прижалась к Александру:

— А что дальше было?

Уловив в голосе жадное любопытство, он тихо поцеловал ее плечо, вздохнул глубоко:

— А дальше...

Лена с легким испугом увидела, как вновь сновитесь его лицо некрасивым.

— Да, в штаб меня... позвали, думал, что — все. В штабе полковник и замполит. Вхожу, докладываю, а замполит вытаскивает пистолет, орет, побагровел весь: "Знаешь, что тебе полагается за идеологический саботаж? За политический саботаж? За во-о-обще саботаж?! Пуля! Мне на тебя и обоймы не жалко будет!" Должен тебе признаться, я похолодел, словно был уже мертвым. Но выдавил из себя: "Я готов". Тогда он бросил пистолет на стол, снова заорал, но уже издевательски: "А, ты, значит, готов?! На что ты готов, ЧП тут нам устроить, всех нас опозорить, оценки нам снизить?! Не выйдет!" Он вдруг понизил голос: "Ты же замечательный инструктор, мы думали вообще предложить тебе остаться, людей учить. А ты... А ты готов ради твоих дурацких слюняйских идей и себя погубить, и нас опозорить. Вот ты здесь, на Кавказе, как себя чувствуешь? Как дома. Ты здесь — дома, у себя, в своей стране. А сколько лет, десятилетий мы воевали, чтобы Кавказ стал русским, нашим, ты знаешь? Знаешь?! А что Афганистан, мы и туда приносим цивилизацию. А ты тут ребятам мозги пудришь. Не выйдет. Мы тут с Сергеем Платоновичем

решили: если уж быть ЧП, то такому, от которого тебе будет не польза, а мука. Мы знаем, ты не хочешь в тюрьме спрятаться от фронта, ты не трус, это офицеру сразу видно... Так вот, если будешь продолжать, если произнесешь еще хоть одно саботажное слово, мы возьмем и посадим несколько парней, которым ты заморочил голову. Они будут платить за тебя по счету. А если будут клепать на тебя, мы лично скажем, что они на тебя, инструктора, затаили зло, хотят отомстить". Тут полковник сделал шаг вперед, сказал: "Так и будет, клянусь своей офицерской честью, самым дорогим, что у меня есть. Иди". Я вышел из штаба уничтоженный. Замполит меня победил, а начальничек учебки, полковник, — добил. Они оказались хитрее меня, умнее, что ли, они нашли прием, мое слабое место — помнишь орвелловскую крысу? Что же, я перестал рассказывать правду и думаю, что уже через несколько дней ребята забыли обо всем, что я говорил. Я сам постепенно стал забывать, так хотелось есть и спать. После учебки сделали меня сержантом, замкомвзводом, т. е. заместителем командира взвода, ну, и послали всех под Джелалабад.

Лена потупила глаза:

— Выпей еще, выпей... Теперь скажи мне, ты... ты убивал?

У Александра поднялись брови и сузились глаза так, как бывает у отцов, слушающих впервые детский вопрос: "Папа, а правда, что ты когда-нибудь умрешь?"

— Лена, ведь там война идет, а я был десантником.

— Но ведь ты убивал людей, защищающих свою родину, свою веру. Помнишь, что мы говорили об этой войне, что она позорная, ужасная и...

— Я все это помнил. Но я тебе уже сказал — во мне что-то произошло. Мне хотелось выжить, вернуться домой. Но я тебе клянусь честью, убивал я только в бою... Мы участвовали в нескольких операциях в кишлаках... так я и многие из нас всегда стреляли выше, чем нужно, гранаты бросали не совсем туда. Мой командир взвода Костя Капралов сам не мог жить без томика Лермонтова, его самого воротило от всей этой бойни. Он нас прикрывал, как мог, сам старался оставить руки чистыми. В бою, в засаде — дело другое. Война есть война, либо ты убьешь, либо тебя убьют. Я правду тебе говорю: часто рисковал головой, чтобы у нас было меньше убийц. Но это трудно. Служишь с хорошим парнем, дружишь, а после видишь его с перерезанным горлом или с кишками наружу, ну, начинаешь мстить, то ли из дружбы, то ли из страха или от всего сразу. И скажу тебе: такие подразделения мстителей у нас были, но — не так уж много.

— А орден за что дали?

— Спас нескольких офицеров, в том числе полковника важного одного. Ехали они в колонне пьяные до потери пульса. Колонна попала в засаду, их машину перевернуло. А я с несколькими ребятами возвращался в часть после концерта, который давали для пехоты. А офицеры не то, что стрелять, на колена стать не могут. Мы их и защитили до вертолетов. Из семерых нас осталось тогда четверо, мне, как всегда, повезло. А офицеры после не знали, как отблагодарить, так они мне сволочи вместо отпуска устроили орден. Вот и все. И — попробуй отказаться! Я тебе уже говорил: вокруг столько мерзости, столько смерти, увечий, болезней, воровства, шкурничества, что желание вылезти из всего этого живым было неодолимо. Прав-

да, приходила мне иногда мысль, что полковник и замполит разыграли меня. Но было уже поздно.

Он видел, что Лена с трудом сдерживает слезы. Она погладила ему руку.

— Слушай, правда, значит, всё то, что на Западе говорят об этой войне? Мне иногда казалось, они все-таки преувеличивают, что не могут же наши, вот ты, например, такое делать с людьми.

— Я вчера ночью слушал и позавчера тоже. Преуменьшают они даже, преуменьшают. Такое творится, такое... погибнет этот народ, погибнет. И никто его не спасет. И все это — нашими руками. — Он покачал головой.

Внезапно выражение боли на лице Александра стало вытесняться угрюмостью. Лена остро ощутила — не афганцы причина этому. Она знала, что он скажет, о чем, заикаясь, спросит...

— Ты меня еще не спросил, были ли у меня любовники, живу ли с кем-нибудь теперь?

Лукаво смотрела она на тени, выступившие на его лице, на тусклые искорки, запрыгавшие в глазах, услышала пересохший голос.

— И не спросил бы. Об этом не спрашивают. Я у тебя ничего не просил, ты ничего не обещала. Ты была и есть свободна. Но раз начала, так говори, и покончим с этим.

— Хорошо. Покончим. Я знаю теперь — ты не изменился на самом деле, хоть и думаешь про себя обратное. Так вот: да, я была тебе верна, да, я тебя люблю, да, я хочу стать твоей женой. Но это не новость. А новость вот, мой дорогой: у тебя есть сын.

Она выскользнула из его рук, рассмеялась:

— Глупей не видела лица. Закрой рот. И молчи. Легкая тень пробежала по её лицу.

— Я думала, ты не вернешься, тебя убьют. Вот и решила банально, я же неисправимый романтик: пусть у меня от него будет ребенок. Чего смотришь по сторонам? Он у тетки, как положено по хрестоматии, в деревне. У меня же в этом году — защита диплома. Теперь спрашивай.

Он смотрел на нее растерянно:

— Как это? Сын? От меня?

— От верблюда.

— Сколько ему?

— Верблюду?

— Перестань.

— А, приходишь в себя. Ты отсутствовал два года и два месяца. А родился он через девять месяцев после твоего отъезда. Вот и подсчитай.

— А как его зовут? Александром?

— Ишь чего захотел. Нет, Михаилом. И не спрашивай почему. Ладно, скажу... Люблю я этого архангела. А если честно, то это Фима посоветовал. Незадолго до ареста.

Побывав в деревне у сына, вернувшись и отужинав в ресторане, они не переставали и дома говорить о сыне.

— Нет, все-таки он здоровенный, ты уверена, что не родила его раньше?

— Нормальный парень. Хотела бы я признаться, что от другого, но больно уж на тебя похож.

— Давай все-таки возьмем его. Пусть у матери моей поживет, пока я устроюсь, а ты диплом свой получишь. А там видно будет.

— Нет, пусть до диплома, и, не забывай, распределения, у тети поживет, там ему здоровее...

– А теперь... Мы избегали разговора о Фиме, Лешке, Павле, Андрее. Теперь давай.

Лена рассказывала негромко:

– На металлоштамповочном была забастовка, они и расклеили по всей территории завода о правах рабочих.

– Ну, и...

– И ничего. Рабочим повысили расценки, забастовка кончилась, а наших взяли. Фима получил семь и три, а Лешка, Павлик и Андрей – по пять и три ссылки. Вот и все.

Александр спросил глухо:

– Открытый был суд? Ты была?

– Нет, закрытый. Но все знают – они не признали себя виновными и ни о чем не просили. Но... Но ты не должен чувствовать себя виноватым. Подумай, ты ведь все-таки старался там спасти жизни. Ты же их спасал!

Александр откинулся на стуле, дал голове сползти безвольно на плечо:

– Слабое утешение. Есть другое. Я должен тебе это сказать, раз ты согласилась меня любить. Я не уверен, был бы ли я с ними сегодня. Подожди, послушай. Раньше, в том нашем мире, я власть не любил, я ее презирал, а себя любил. Я был готов сделать то, что подсказывает мне совесть, и идти под нож. Теперь я власть эту ненавижу, а себя перестал любить. Теперь я не смогу пойти просто так под нож. Теперь мне нужно другое. Что – не знаю...

Александр посмотрел с надеждой:

– Ты думаешь, когда они вернуться, они меня поймут? Поймут они меня? Не осудят?

Она прижала его голову к своей груди, стала гладить по волосам и, серьезно сомневаясь в искренности своих слов, приговаривать:

– Поймут. Поймут и простят.

1985 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Десантная группа. <i>Повесть</i>	5
Возвращение. <i>Рассказ</i>	124